



ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

# Последний патрон

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Планка 11к.





ЕВГЕНИЙ  
ВОРОБЬЕВ

# Последний патрон

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» МОСКВА 1969

«Сражаться до последнего патрона!» — нет слов, которые точнее выражают стойкость солдата, его непреклонное мужество, его решимость к смертному бою.

Случалось на войне, что от одного патрона зависела не одна солдатская жизнь, один патрон решал судьбу и успех в ближнем бою, в разведке.

Разведчики Петр Пестряков и Михаил Черемных еще раз убедились в драгоценности одного патрона в тылу врага, где их ждали опасные приключения.

В основу маленькой повести «Последний патрон» легли эпизоды из книги «Капля крови».

**Художник Ю. Теребилов.**

**П**естряков вышиб прикладом раму оконца, и низенький солдат спустился в подвал.

Он принялся там ожесточенно чиркать спичками, ругая при этом последними словами спичечную фабрику и ее директора.

— Отсырели, что ли? — Пестряков с сердитым нетерпением заглянул в оконце, для чего он мученически согнул долговязое туловище, а затем, не разгибаясь, оглянулся на механика-водителя, которого лейтенант бережно опустил на каменные плиты.

— А еще на коробке написано: «Смерть немецким оккупантам!» — донеслось снизу. — Да этими спичками захочешь — пороховой погреб не подожжешь!..

Пестряков похлопал себя по карманам и спросил у лейтенанта, стоящего возле раненого:

— Спичек, зажигалки нету?

— Некурящий, — отозвался лейтенант виновато.

— Зажигалка у меня есть, — послышался голос из подвала. — Только без бензина.

Наконец спичка загорелась, и при ее скоротечном свете низенький солдат обшарил глазами темноту.

Он увидел в углу подвала кушетку с большой подушкой, столик и табуретку возле него, а самое главное — приметил плоску на столике, заурядную плоску со стеарином, застывшим в картонном блюдецке, с фитильком в сальной лепешке. Весьма кстати, что немцы-домохозяева пользовались подвалом как бомбоубежищем.

И еще кстати, что подвал, который они облюбовали, выходил на улицу глухой стеной. У стены дома валялся ящик, а по соседству с ним чернело это самое подвальное оконце.

В подвал втащили Черемных и туда забрались все, причем лейтенант едва протиснулся в лаз своими могучими плечами. Пестряков подушкой заткнул оконный проем.

Черемных уложили на кушетку. Высокий лоб его и рельефные, заостренные скулы обметало, как поблескивающей сыпью, мелкими капельками пота. Слегка раскосые глаза полуприкрыты, но все-таки можно заметить, что они горят горячечным блеском.

Пестряков разрезал кинжалом сапоги Черемных. Брюки, белье — все было пропитано кровью и бензином. Достал один за другим три индивидуальных пакета и сделал перевязку, во время которой Черемных вновь лишился сознания.

Лейтенант стоял, держа плоску в вытянутой руке. Левый рукав его кожаной куртки обгорел, а крошечный танк на погоне был закопчен, как вся куртка, шлем, лицо, руки.

В подвале воцарилась тишина. Подушка в оконце приглушала гул боя. Люди заново привыкали к тишине, заново приучались говорить вполголоса. Просто удивительно, что нет нужды перекрикивать канонаду, шум танкового мотора, лязг гусениц.

— Танк живой? — спросил Черемных, очнувшись.

Тихий грудной голос его прозвучал неожиданно, как если бы в подвале появился новый человек.

Пестряков махнул рукой, и причудливая тень метнулась по стене.

— Только ты да лейтенант живете из экипажа.

Черемных застонал.

— Эх, страдалец! Как звать-то тебя? — бойко спросил низенький солдат.

— Черемных. Когда жив был, Михал Михалычем звали...

— А тебя как величать? — спросил у низенького солдата Пестряков и в ожидании ответа так повернул голову к собеседнику, как это делают люди, которые слышат на одно ухо.

— Тимофей Кыш. Чаще Тимошей зовут.

— А я, между прочим, Пестряков Петр.

— Олег, — представился лейтенант. — Олег Голованов.

Он снял шлем, и его волосы, как их долго и туго ни приминал шлем, сразу раздались пышной, волнистой шевелюрой.

Пестряков взглянул на лейтенанта — нежный подбородок, легкий пушок над губой, ямочка на щеке, подкрашенной румянцем. То ли свет плоски наложил эту веселую краску на лицо лейтенанта, то ли на самом деле розовощекий?

— Закурить не найдется? — Пестряков обвел всех жадным, ищущим

взглядом; он сделал при этом нетерпеливое движение коричневыми от махорки пальцами, словно скручивал сигарку.

— Одну затяжку! — взмолился Черемных.

Тимоша щелкнул пустым трофейным портсигаром и при этом выразительно свистнул.

— Некурящий, — извинился лейтенант.

Каждый про себя позавидовал некурящему.

Пестряков уселся на табуретке у столика и спросил у лейтенанта:

— Карта есть?

— Пожалуйста. — Тот расстегнул планшет.

Пестряков расстелил карту, поставив на ее угол плошку, и принялся изучать обстановку, при этом он нещадно теребил усы и хмурил нависшие брови.

Тимоша мешал сосредоточиться: он прилежно и затейливо ругал соседа слева, который засиделся, такой-сякой, во время атаки, а потом, та-кой-сякой, драпанул.

В тот вечер Тимоша да и все, кого фронтовая судьба свела в подвале на окраине немецкого городка северо-восточнее Гольдапа, не знали, что танковая дивизия эсэсовцев «Мертвая голова» ударила с севера в открытый фланг нашей подвижной группировки и прошла по ее тылам. А городок, куда наши танки ворвались вчера, снова оказался в руках противника.

— Нужно подсчитать боеприпасы, — подсказал Пестряков, складывая карту.

Лейтенант торопливо кивнул в знак согласия.

У Черемных и лейтенанта равно оказалось по семнадцати патронов — по девяти в пистолетах и по восьми в запасных обоймах.

У Тимоши в диске оказалось всего-навсего три патрона, но зато — четыре гранаты.

Пестряков насчитал у себя в диске автомата двадцать три патрона, гранат у него не осталось, из холодного оружия был кинжал.

— Все боевое питание разделим по справедливости, — решил Пестряков. — Арсенал-то у гарнизона нищий. Так что беречь каждый припас...

Пестряков взял запасную обойму от пистолета Черемных, передал ее Тимоше, и тот подкрепился восемью патронами. В свою очередь, Тимоша отдал две гранаты из своих четырех.

Пестряков сидел за столиком, уронив голову в мятой пилотке на задымленные до черноты руки, лежащие на карте. Голова шла кругом, и тошнотный ком стоял в горле — его так и тянуло улечься на пол, но он упрямо противился контузии.

А в памяти жили все подробности последнего боя.

Если десантники и забирались сегодня на броню, то ненадолго.





Десант спешился, чтобы разведать, высмотреть дорогу. Чем труднее бой, тем непоседливее пассажиры танка.

Нет ли фаустников — опасных охотников за танками? Не протянуты ли через мостовую шнуры с подвижными фугасами? Не швыряют ли немцы бутылки со взрывчатой смесью? Эта белая взрывчатка, похожая с виду на сметану, вошла в моду совсем недавно. Не спрятана ли где-нибудь в засаде противотанковая пушка? Немцы втаскивают пушки прямой наводки в подъезды угловых домов или сквозь разбитые витрины — в магазины.

В последней схватке группа десантников, и без того немногочисленная, понесла потери и не могла защитить свой танк. На южной окраине городка горело несколько домов, и танк при свете пожаров был для фаустников хорошей мишенью.

Пестряков знал, кто именно поджег танк, — очкастый верзила, на котором почему-то не было каски, как сейчас вот у него, у Пестрякова, а была пилотка, напыленная на самые уши. Таких дюжих, не очень широких в кости, жилистых парней у них в деревне Непряхино называют жердяями.

Фаустник поджег танк, бросил реактивную трубу и побежал. Он пытался скрыться в парадном какого-то особняка, но парадное, на его беду, было заперто. Пестряков расчетливо бросил гранату не вдогонку фаустнику, а через его голову, чтобы тот сам бежал на разрыв. Но фаустник схватил упавшую под ноги гранату, мгновенно отшвырнул ее за высокий каменный забор и тут же скрылся в проломе стены.

«Вот дотошный жердяй, — заново озлился сейчас Пестряков, но к его лютой злобе невольно примешалось и уважение к умелому противнику. — Перехитрил меня, черт очкастый! Чумовой, однако. Вот бы с ним еще разок встретиться, долг ему вернуть, долг платежом красен...»

Тимоша не из тех, кто швыряет гранату в судорожной спешке и почти в беспамяත්стве, зажмурив глаза, лишь бы подальше. Все зависит от обстановки. Если Тимоша надежно укрыт, бывает выгоднее швырнуть гранату на близкую дистанцию. Ближе — точнее.

И вовсе не обязательно срывать чеку лишь в момент броска. Иногда трех с половиной-четыре секунд бывает слишком много, и фрицы, заметив гранату, успевают спрятаться, отскочить за угол, прыгнуть в окоп до того, как последует взрыв. Тимоша любит бросать гранаты с затяжкой. Он ощущает каждую секунду во всем ее объеме и половину скоротечного времени держит неминуемый взрыв в руке.

Сейчас, хоронясь за каменным забором, Тимоша не имел такой необходимости. Чем дальше увезет машина в своем кузове гранату, тем лучше.

Нарастает гул мотора. Вдали светятся синие огоньки, машина идет с прищуренными фарами.

Лейтенант уперся могучим плечом в забор, пригнулся, Тимоша вскарабкался ему на спину.

Синие светлячки приближаются. Тимоша сжимает гранату. Остается лишь привычным движением пальца сдвинуть предохранительную чеку влево.

Хорошо бы швырнуть гранату так, чтобы она взорвалась перед самой машиной или, еще лучше, под ее колесами: Но для этого необходим очень точный расчет. Нужно знать скорость, с какой движется машина. Как ее определишь, эту скорость, в полутьме? А иначе граната бесполезно разворотит брусчатку перед машиной или за ее кормой. Самое верное — забросить гранату прямо в кузов.

Тимоша увидел машину — та смутно зачернела на сером фоне.

В саду за забором было по-прежнему темным-темно. Лейтенант с трудом приподнял голову, поглядел наверх и увидел, что верхушки деревьев охвачены беспорядочным мельканием синих бликов и теней.

— Сейчас я из этой машины сделаю блин без масла, — шепотом пообещал Тимоша.

Он изготовился к броску, но в последний момент разглядел, что приближается какой-то крытый брезентом фургон. Проклятье! Граната без толку скатится с брезента на мостовую, а машина уедет от взрыва.

Тимоша бесшумно прыгнул на землю, высланную опавшими листьями.

— Ну? — Лейтенант с наслаждением разогнулся.

— Санитарный автобус. Пустой. Мне граната дороже...

Лейтенант потер онемевшую шею и с силой развел руками, отведя локти назад, — так потягиваются после сна.

— Намял плечи-то?

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— А то эпизод случился, — зашептал Тимоша, — в ростовском цирке. Только один акробат другому на плечи встал и начал по шести карабкаться... А тот, нижний житель, чихнул. Шест закачался, и тут...

История про акробата осталась недосказанной. Тимоша услышал шум мотора. Нет, одна машина так не тарахтит. Пожалуй, целая колонна на подходе.

Тимоша, придерживая гранату рукой, ловко взобрался на массивную лейтенантову спину.

— Сильно извиняюсь за своч килограммы...

Машина шла, высматривая дорогу подслеповатыми синими фарами, за ней следом шли еще машины.

Тимоша замер с гранатой в руке; вторую он снял с пояса и засунул за отворот шинели — так сподручнее.

Быстро прошла громоздкая машина, укутанная брезентом, — чертovsky акуратисты эти фрицы! За машиной двигался бронетранспортер с пушкой на прицепе.

Маячили на сиденьях фигуры артиллеристов. Фриц, который сидел с краю, безжизненно уронил голову на грудь, а тело его сонно покачивалось.

Тимоша, не раздумывая, коротким движением руки — вот так он сдавал карты, когда играл в очко, — бросил сверху гранату.

С приглушенным стуком она шлепнулась в бронетранспортере на что-то мягкое. Может быть, никто и не обратил на стук внимания, не услышал его за громоыханием машины. Вторая граната угодила в кузов грузовика, шедшего следом.

— Ложись! — иступленно прошипел Тимоша и спрыгнул со спины лейтенанта.

Пламя разрывов высветило с изнанки редкие листья и сучья. Верхушки деревьев отшатнулись от улицы — это поверх забора прошли, одна за другой, две взрывных волны.

— Бежим!.. — скомандовал Тимоша.

Он рванулся в сторону от криков, стонов и беспорядочной стрельбы, которые уже доносились с улицы.

В небо взвились ракеты. Лейтенант заметил, что теперь листья и сучья выбелило сверху. Он побежал следом за Тимошей, не теряя из виду его изодранной спины...

Мало кто знает, как тяжело бежать по лесу или по саду, ярко освещенному едким, химическим светом ракеты! Стволы выбелены настолько, что становятся невидимыми. То и дело натыкаешься на деревья, а резкие тени деревьев притворяются стволами, и ты осторожно оббегаешь эти тени. Опавшие листья тоже выбелены, словно бежишь по пороше.

Не слыша шуршания листьев под ногами, оба пробежали через просторный сад и скрылись в каком-то подворье.

Улица, на которой прогремели взрывы, узкая, объехать подорванные машины немцы не могли, и транспорт направлялся теперь в объезд, севернее.

Лейтенант с Тимошей не смели и носа высунуть со двора, куда забежали. Они прятались в укромном затишке, между стеной амбара и поленицей дров.

— У ваших гранат, — прошептал лейтенант почтительно, — какая-то особенно большая разрушительная сила. Вы, по-видимому, много тренировались...

— Практика богатая, — согласился Тимоша солидно. — Рекомендую

городки. Для тренировки. Народная игра. Первое пособие! Я одной битой «пулеметное гнездо» выбиваю.

— Разве есть такая фигура?

— А как же? «Бабушка в окошке» — штатское название. А по-нашему, по-фронтовому, — «пулеметное гнездо».

И Тимоша принялся похвалиться тем, как он фартово играет в городки. В запасном полку, куда попал после второго ранения, он сразу стал чемпионом по городкам. Вообще в том запасном полку житуха была неплохая.

Вынужденный шепот мешал Тимоше в полной мере насладиться своим рассказом...

Лейтенант слушал Тимошу, тревожно глядя на отсветы пожара, вслушиваясь в ночь, потрясенный ее событиями. Нет, он и сегодня никому не дал повода усомниться в своей смелости. Но Тимошина смелость совсем другого сорта. Олегу лишь удавалось придать спокойное выражение своему лицу и всему телу — каждому движению, жесту, шагу, а Тимоша был внутренне спокоен под огнем. Олег чувствовал: Тимоша смел не потому, что умеет подавить в себе страх, он самого страха не испытывает.

Медленно блекла и выцветала крыша амбара. Час, может, полтора часа прошло, пока зарево обессилело.

Они осторожно вылезли из своего укрытия, с трудом добрались до подвала.

Пестряков упрекнул товарищей в неосторожности — рассвет уже шел по их следам.

Тимоша запустил руку в карман шинели и выгреб оттуда щепотку сора — смесь чая, сахарного песка и махорки. Он с печальным вниманием посмотрел на ладонь.

— Ни чай заварить, ни сигарку скрутить. — Он вытряхнул сор из кармана и поправил ремень. — Голод не тетка — пирожка не подсунет. А я бы сейчас не отказался даже от пустых щей... Эх, где-то мой паек сегодня бродит! Если только меня не списали с довольствия, как жмурика... А я на этом свете хотел бы еще съесть краюху хлеба. До чего же он бывает аппетитный, этот хлеб! Корочка золотисто-коричневая. И вся такая хрустящая. У нас в Ростове-на-Дону хлеб пышный пекут. Укусишь немного, а нажуеть полный рот. Нормально. И крошки все подобрал бы сейчас. Ей-богу, не поленился бы. У меня и до войны аппетит был — уйди с дороги! И спать не ленился... А сейчас завоюешь городок — и не отдохнешь по-людски. Бродят солдатики из дома в дом как неприкаянные. Но только мой ночлег обходили всегда.

— Чем это объясняется? — любопытствовал лейтенант.

— А я мелок ношу в кармане.— Тимоша порылся в кармане, побренчал там всякой всячиной и достал замызганный мелок.— Присмотрю уютный домик — сразу пишу на дверях, на ступеньках: «Мины. Не входить!» Вежливо. Будто наследили саперы. Мины засекли, а еще не разоблачили. И череп с костями рисую для испуга. Как на трансформаторной будке. Все обходят дом стороной.

— Ну и дошлый же ты парень! — покачал головой Пестряков, и тень от уса черной стрекозой заметалась по его щеке.— Ни угрызений у тебя, ни совести...

— Такая уж у меня судьба жизни, товарищ главнокомандующий,— незлобиво согласился Тимоша.— Чересчур умный. Много знаю — мало понимаю.

Тимоша повернулся к свету и увидел, что Пестряков сидит у плошки, не отрывая взгляда от карты, расстеленной на столике. Тщедушный язычок пламени, не больший, чем у тоненькой свечки, высветлял густые брови Пестрякова, нос, подбородок и кончики прокуренных усов, оставляя все прочее в тени и тем самым делая все черты лица еще более заостренными. Как широк воротник шинели для худой черной шеи! Или это его так контузия скрутила?

И нечто похожее на сострадание шевельнулось в душе Тимоши.

— Эх, давай-ка лучше подкрепимся, товарищ Пестряков! — бодро воскликнул Тимоша, доставая фаянсовую банку.— Помнишь лозунг? Кто не кушает — тот не ест! Нам фрицы маку оставили.

Черемных повернул голову и тоже поглядел на банку, которой потрясал Тимоша.

— Бескормица,— вздохнул Пестряков, по-хозяйски складывая карту.— На четырех мужиков ужин?!

— А как разделить этот мак? — поинтересовался лейтенант.— Научная проблема! Ведь это уже не теория, а практика бесконечно малых величин.

— Поштучно, что ли, считать? — улыбнулся через силу Черемных.

— Зачем? Буду отсыпать щепотками,— решил Тимоша.— Порядок. Сколько пальцы зернышек ухватят.

Через минуту все жевали маковые зерна, и Черемных тоже с трудом, но старательно двигал челюстями.

Первым, с прибауткой «тяжелобольной — аппетит двойной», закончил трапезу Тимоша, вторым — лейтенант, за ним неторопливо вытер рот тыльной стороной ладони Пестряков.

Он удрученно покачал головой:

— Правильно в народе говорится: семь лет мак не родил, а голода все не было. Только слюну зря извел.

Черемных облизал пересохшие губы.

— Не наелся — так не налижешься,— еще раз посетовал Пестряков.

— Я слышал, от мака быстро свертывает в сон,— сладко зевнул Тимоша.

— А тебе к чему? — усмехнулся Пестряков.— Ты и так дрыхнуть горазд...

Тимоша спал так прилежно, словно решил отоспаться за всю войну. Пестряков с трудом его растормошил.

— Эй, «глаза и уши»! Хочешь в разведку со мной податься? По городу пройтись.

— Ночная прогулка?.. И перед сном прошвырнуться невречно. Очень рекомендуют врачи. По нервным болезням.

— Вдвоем всегда способнее,— сказал Пестряков, не принимая тона Тимоши.— А кроме того...— Пестряков запнулся.— Глуховат я малость. Особенно с правого фланга. Как та бабуся: на одно ухо глуха, а другим не слышит!

— Слышимость я обеспечу. Мои звукоуловители в порядке,— заверил Тимоша весело и откинул каску на затылок.

— На броне сидишь, а в уши тебе бьет и бьет,— продолжал оправдываться Пестряков.— Кто помоложе, половчее — спрыгнет, отбежит. Я чаще опаздываю. А в результате — здорово, кума, купила петуха...

Если Тимоша на самом деле стоящий разведчик, он должен понять, как трудно вести разведку, когда тебя окружает обманчиво беззвучная ночь, когда все зарева немые, все моторы бесшумные, все осколки безголосые...

Тимоше очень понравилось, что Пестряков обратился к нему с просьбой, а не принялся сразу командовать. Тимоше самому претило сидеть в полном неведении. Надо же знать, что творится вокруг! А кроме того, у него родилось злорадное желание проверить Пестрякова в деле, посмотреть, что это за птица такая усатая, не нырнет ли «главнокомандующий» лицом в грязь, и по праву ли он берется командовать опытными фронтовиками, которые в разведку не реже хаживали, чем до войны на танцующие.

Дом с подвалом, куда втащили Черемных, находился на восточной окраине городка, южнее кирки. Когда небо подсвечено заревом или горит ракета, на севере виднеется шпиль ратуши; он подобен огромному штыку, воткнутому в низкое, дымное небо.

Крадучись, Пестряков с Тимошей вышли через распахнутую настежь калитку на улицу. Хорошо хоть, что ракеты вспыхивают через более или менее равные промежутки и можно каждый раз заранее лечь на землю или прижаться к стене дома, к забору. Но разве задача только в том, чтобы не шевелиться, не двигаться, пока отгорают ракеты? Надо еще успеть высмотреть дорогу, по которой придется продолжать путь во тьме.

После слепящего света ракеты приходится каждый раз заново приравливаться к мраку. В эти мгновения темнота такая плотная, что, кажется, ее можно осязать пальцами.

Но мало высмотреть дорогу, по которой предстоит идти. Следует все время приглядываться к вехам, запоминать дорогу, потому что по ней ведь придется шагать-ползти обратно. Так легко заблудиться в чужом, незнакомом городе, по которому разгуливаешь тайком!

Низкое облачное небо висит над островерхими крышами домов. Кажется почти сверхъестественным, что в такую ненастную ночь где-то в просвете между тучами светится одинокая звезда. Она похожа на трассирующую пулю, замершую в своем полете.

На востоке, за частоколом крутых черепичных крыш, небо в проемляках, вспышках, отсветах далеких пожаров, в тревожном мерцании — бессонное зарево переднего края.

«Сколько же километров легло между нами и линией фронта? — попытался определить Пестряков. — Три, четыре? Во всяком случае, не меньше трех».

Он снова прислушался. Не донесется ли пулеметная очередь? И ведь ветер восточный, помог бы звуку дойти! Значит, фронт дальше. Ветер несет с собой запах гары, и кажется, что воздух нагрет пожарами и разрывами, что с востока дует поджаренный ветер.

Пестряков знает, что их дом на перекрестке, откуда прямо на восток тянется не то аллея, не то бульвар, и тянется прямо к горбтому мосту через канал. Для начала хорошо бы пробраться к кирке, по крайней мере, кирка — хороший ориентир.

Пестряков первый заметил шестовку с толстым штабным проводом.

— Починим фрицам связь? Руки сильно чешутся! — Тимоша и в самом деле почесал руки.

Пестряков передал Тимоше кинжал, и тот быстро управился со всем пучком проводов.

— Ремонт телефонов в отсутствие заказчика, — прошептал он на ухо Пестрякову, возвращая кинжал.

Не столь важно вызнать, в какой именно дом тянутся штабные провода. Важно определить координаты квартала. К чему его привязать, этот квартал? Лучше всего к кирке, она — строго на восток. Но как измерить расстояние до нее? Днем можно прикинуть расстояние на глаз. А как вести подсчет шагов ночью, когда передвигаешься то ползком, то перебежками?

Тимоша лежал в водосточной канаве, слева от Пестрякова, на подстилке из прелых листьев, и ломал голову над тем, как бы засечь этот квартал, густо оплетенный штабными проводами.

— Карандаш есть? — спросил шепотом Пестряков и в ожидании ответа приставил ладонь к уху.



— Нету. Есть вечное перо трофейной марки. Только без чернил.

Пестряков раздраженно отмахнулся. Он не отводил взгляда от афишной тумбы; белые клочья объявлений шевелились на ее округлых боках.

— Читать по-ихнему можешь?— спросил Пестряков после долгого молчания.

— Пока не пробовал — чересчур у фрицев азбука клязная.

Пестряков распорядился тем же сиплым шепотом:

— Собери-ка мне пригоршню угольков. Во-от на том пожарище.

По соседству чернел остов какого-то сожженного лабаза.

Наша батарея снова вела огонь, и осколки вокруг пели на разные голоса. Патрули попрыгали, и зарева освещали пустой, вымерший город.

Пестряков до боли в глазах вглядывался в эмалированную табличку на углеводке дома. Нужно взять и срисовать непонятные иероглифы!

Наконец Пестряков решился: поднялся во весь рост, метнулся к тумбе и при очередной вспышке ракеты начал чертить углем на афише, срисовывая надпись с таблички.

«Название одной улицы — пустышка, — рассудил Пестряков. — Требуются два адреса. Вдоль и поперек. Тогда координаты получаются».

Он отодрал уголок афиши со своими каракулями, переметнулся к углеводке дому, дождался ракеты, прижал обрывок афиши к стене. Он вглядывался, запрокинув голову, в табличку, которая смотрела на другую улицу, на запад. И одну за другой вычерчивал буквы. Тимоша слегка обиделся, что Пестряков не нашел нужным посоветоваться насчет своей вылазки, и в то же время был очень доволен придумкой.

Именно потому, что сам Тимоша смекалистый и хитрый, он ценил эти качества у других. Он не отказывал в уважении даже фрицам, когда им удавалось его, Тимошу, перехитрить, или, как он выражался, «охмурить».

«Что же он так долго? — мучительно вглядывался Тимоша в фигуру Пестрякова, распластавшегося по стене дома, с руками, поднятыми над головой: одной рукой придерживал бумагу, в другой держал уголек. — Есть ли у проклятого названия конец?»

Пестряков сменил уже несколько угольков, а все еще выводил черточки и линии. Слабеет ракета, вот уже обрывок афиши одного цвета со стеной, и Пестряков в полутьме приползает, тяжело дыша, к Тимоше. Нужно передохнуть, отдышаться, прежде чем двинуться дальше. В канаве по-прежнему остро пахнет чуть подгнившими листьями, и Пестряков на ощупь определяет, что это листья каштана.

Где-то поблизости на каменные плиты тротуара падают переспелые, пережившие все сроки каштаны, но Пестряков их не слышит. Их слышит один Тимоша, лежащий слева.

Хорошо бы передохнуть и отправиться восвояси, не испытывать судьбу до конца, не вслушиваться больше в осколки,— кажется, все они летят мимо уха. Но Пестряков не считает задачу решенной, пока они с Тимошей не подобрались к кирке, которая громадится неподалеку. Пришлось сделать большой круг, и только после этого дворами и садами вышли они наконец на площадь перед киркой.

По-прежнему каждая ракета заставляла обоих прижиматься к стене дома или к земле, чтобы ничьи глаза не увидели две их фигуры: долго-вязую и приземистую, не увидели их тени — длинную и короткую. Когда они двигались навстречу ракете, тени волочились позади; когда ракета повисала за спиной, тени стлались перед ними. Каждая осветительная ракета была сообщницей, потому что помогала ориентироваться и делала их более дальнзоркими. Но одновременно ракета являлась их предательницей: они сами становились видимыми для чужого глаза.

Плиты, которыми был вымощен тротуар, более гулко, чем асфальт, отзывались на шаги часовых. Эти же плиты труднее принудить к тому, чтобы они оставались беззвучными, когда по ним шагают разведчики.

Наши батареи по-прежнему вели беспокоящий огонь, и на окраине городка время от времени рвались снаряды.

— Калибр сто двадцать два, фугасные,— определил Тимоша уверенно, и Пестряков кивнул в знак согласия.

Обстрел был разведчикам на руку, так как обезлюдил улицы, заставил немцев попрятаться. И опять-таки обстрел этот заставлял самих разведчиков остерегаться. Тугоухий Пестряков, с опозданием слышав снаряд, свистящим шепотом командовал: «Ложись, Тимошка!»—ведь никто от своего осколка не застрахован, и нечего играть со смертью в жмурки.

И еще множество условий и обстоятельств могли обернуться для двух ночных бродяг к их выгоде или к страшному урону. Многое зависело от фронтового опыта этих людей, от искусства разведчиков, от того, сумеют ли они обратить эти условия и обстоятельства себе на пользу, лучше противника использовать обоюдоострое оружие.

Искусство разведчика начинается с драгоценного умения предвидеть и предугадать опасность. Ну, а если этого умения нет, все остальные достоинства уже ни к чему, поскольку без умения не уцелеет ни один разведчик.

На протяжении ночи Пестряков не раз имел возможность убедиться в том, что Тимоша — разведчик стоящий, а товарищ надежный. Бахвал — да смелый, болтун — да дельный, простачок — да хитрый... Вот ведь, оказывается, натура у него какая двусторонняя. Ну и ловкач! Вокруг столба без поворотов пройдет...



...Пестряков и Тимоша благополучно добрались к площади и зашли в садике у какого-то дома с вычурным балконом и еще более вычурной мансардой.

На противоположной стороне площади, за киркой, разорвался снаряд, и слепящее пламя, как молнией, осветило папёрть кирки, памятник кому-то, кто восседал на лошади с саблей в руке и в острове́рхой кайзеровской каске. А самое важное — пламя осветило дула зениток с задранными в небо стволами.

— Через площадь провод тянется, — высмотрел Тимоша.

— Не станет Гитлер — чесотка его возьми! — тащить провод через площадь на шестах, — рассудил Пестряков. — Он бы его вкруговую пустил и на столбы подвесил. А этот провод в кирку пущен.

— Ясно, не молебны заказывают по телефону, — хохотнул Тимоша. — Там на верхотуре «молятся» наблюдатели.

Пестряков дал знак двгаться. Они благополучно пересекли сад, где стволы были вымазаны известкой, и вышли в тесный дворик. Посередине дворика находился старинный колодец с круглым навесом, похожим на беседку.

Но не успели они отойти от этого колодца, как на них набросилась собака. Глаза ее по-волчьи горели, она захлебывалась лаем, одновременно хриплым и визгливым. Этой овчарке не хватало лая, чтобы выразить всю свою злобу, рожденную голодным и страшным собачьим одиночеством, всеми тревогами, вызванными обстрелом и пожарами вокруг, всеми неизвестными прежде запахами, всеми обидами, которые были нанесены за последнее время, начиная с той минуты, когда ее так бессердечно бросил здесь во дворе хозяин и забыл, что ее полагается кормить, поить, водить на прогулки в городской парк, где всегда можно встретить много знакомых и незнакомых собак... Уже много дней никто, даже гадкий соседский мальчишка, который имел скверную привычку дразнить через забор, не звал её по имени — будто люди сговорились между собой забыть кличку, которую сами же придумали. Она давным-давно не грызла костей, не лакомилась сахаром, искусственным медом.

Нападение овчарки было столь неожиданным, что Тимоша попросту оторопел, да и Пестряков не сразу пришел в себя. Оба прожили ночь в постоянном ожидании опасности. Но кто мог подумать, что опасность явится в виде взбесившегося от ярости, лающего на весь городок пса? Наверяд ли мгновение назад Пестряков вообще помнил о существовании собак на белом свете.

Овчарка рычала и бросалась на Тимошу, шедшего впереди. Тимоша уже несколько раз пытался стукнуть овчарку прикладом автомата, целясь в горящие глаза, но овчарка была увертлива, и размахивание прикладом только увеличивало ее ярость. Как быть? Ведь овчарка продол-

жает привлекать к ним внимание. Жаль, часовые сейчас не перекликаются очередями: не за что спрятать свои выстрелы.

«Подождать очереди, что ли?»— раздумывал Пестряков; он по-прежнему стоял у колодца, отбиваясь от овчарки.

Теперь овчарка оставила в покое Тимошу и всю свою ярость обратила на Пестрякова. Может быть, ее привлекла короткая шинель и короткие голенища сапог? Этого человека ей легче было ухватить за икру, и он не так быстро размахивал своей толстой дубинкой...

Как назло, орудия, пулеметы и автоматы часовых молчат, а овчарка беснуется. Что опаснее: обнаружить себя выстрелами или оставаться в дворике, где не прекращается истерический лай?

Пестряков подумал и дал короткую очередь. Овчарка полетела кубарем. Светящиеся глаза ее описали в темноте какую-то спираль. Но овчарка была жива, она кинулась на обидчика с хриплым подвыванием. А ведь Пестряков готов был поклясться, что достал собаку пулями.

Тимоша выстрелил, собака продолжала рычать; он выстрелил еще раз, в упор,— и она утихла.

Разведчики прошли к калитке, осмотрелись и пустились наутек по тротуару, подальше от того места, где раздавался лай и где прозвучали их выстрелы.

— Однако чумовая,— перевел дух Пестряков.— Ты сколько патронов истратил?

— Два.

— Я, усаый олух, кажись, семь. Да еще промахнулся.

Пестряков помрачнел:

— На хозяев боеприпаса не останется, ежели так с фашистскими овчарками воевать. Кажись, шестнадцать патронов осталось.

— И моих восемь,— невесело подсчитал Тимоша.

Добрались до канала, о котором Пестряков знал, что он тянется по восточной околице города. Курица могла форсировать тот канал, не замочив крыльев. Дно канала и крутые откосы, выложенные скользкими плитами, были устланы опавшей листвой. Она удобна, когда на листе этой можно неподвижно лежать, но опасно шуршит, когда по ней приходится ползти.

Пестряков и Тимоша удостоверились, что канал используется как противотанковый ров. Можно не сомневаться, что горбатый мост фашисты начинят минами.

При въезде на мост скопилось множество машин, одна в затылок другой.

Пестряков сразу догадался: это потому, что обочины аллеи и подступы к мосту уже заминированы, машины там не могут разъехаться, оставлен лишь узкий проезд. И по мосту, вопреки его ширине, движение машин было одностороннее.

Он поделился соображениями с Тимошей, тот и с.а.а пришел к такому выводу.

— Мы с тобой,— прошептал Тимоша в ухо Пестрякову,— одного, минного, поля ягоды.

И в этом вкрадчивом шепоте можно было услышать все — извинение за бывшее недоверие и обещание дружбы.

Конечно, Тимоша — бахвал и вздорщик, но нельзя отказать ему в том, что он разведчик приглядистый, на него можно облокотиться в самом рискованном деле.

И что еще Пестрякову понравилось, можно даже сказать, тронуло его,— Тимоша раз и навсегда запомнил, что Пестряков хуже слышит правым ухом, а потому располагался на левом фланге: там и шепнуть на ухо удобно, а ему, Пестрякову, не приходится вертеть головой.

Не один час прошел в скитаниях по городу, и, как ни длинна ночь в начале ноября, пора было уже подумать о возвращении домой.

Пестряков и Тимоша благополучно, без особых происшествий добрались до своей улицы, поравнялись с забором из неотесанного камня, со знакомой калиткой, но здесь, возле дома, в котором они оставили товарищей, впритирку к фасаду, стояла теперь цуг-машина с пушкой на прицепе.

Черемных негромко стонал, но каждый раз, когда лейтенант давал ему фляжку с водой, успокаивался — не так судорожно хватал воздух пересохшими губами. Утолив жажду, он вновь пытался совладать с болью, притерпеться к ней.

Снова и снова в сознании Черемных возникали подробности последнего боя.

Он часто и быстро менял позицию, чтобы вспышки от выстрелов не выдали местонахождения танка. Он все время вел машину на малых оборотах, фашисты не смогут по выхлопам мотора определить, куда движется танк. Как же произошло несчастье? Танк вдруг содрогнулся, подпрыгнул, его отшвырнуло в сторону. Черемных попытался понять, что произошло, но в ушах стоял такой звон, словно он сидел в огромном колоколе, а кто-то непрерывно бил молотом по гулкой меди, по ушам, по голове.

Оставил бы его лейтенант в танке — все было бы давным-давно кончено, поскольку танк вскоре загорелся, а Черемных все равно был тогда без сознания. И не узнал бы, что сделался калекой. И уберегся бы от мучений. И не превозмогал бы сейчас желания стонать от боли. И не нужно было бы прислушиваться к каждому выстрелу там, наверху, на земле, к каждому шуму и шороху, которыми до краев наполнена ночь.

Вот ему снова начали мерещиться шаги над головой, и Черемных пристыдил себя — нельзя же до такой степени опускаться, самому себе на нервы действовать!

Однако шаги над потолком становились все отчетливее, и вскоре сверху донеслись голоса.

Черемных затаил дыхание. В горле у него сразу пересохло, в висках застучало. Он потянулся к пистолету.

Лейтенант спал, как бы все время сдувал с губ легкие пушинки. Черемных позвал шепотом — лейтенант не слышал, позвал вполголоса — не слышал.

Как же быть? А вдруг он чихнет во сне, кашляет или всхрипнет? И плошку нужно погасить осторожности ради.

Черемных уже решился было позвать лейтенанта во весь голос, но в это время над головами затопали сильнее, голоса раздались отчетливее, и лейтенант проснулся. Он сел на своем тюфяке, взлохмаченный, розовощекий.

Черемных приложил палец к губам, а затем показал на потолок.

Лейтенант схватился за пистолет.

— Немцы в доме! — сказал он прерывающимся голосом и таким тоном, будто первым сообщил Черемных эту новость.

Лейтенант поспешно погасил плошку.

Оба помолчали, прислушиваясь к темноте.

— Это не хозяева, — сообщил лейтенант тем пронзительным шепотом, который явственнее громкого разговора. — Женских голосов не слышно.

О чем там немцы разговаривают? Отдельных слов, как он ни напрягал слух, разобрать не удавалось, но голоса какие-то недовольные, сварливые.

Может, немцы тоже ищут и не могут найти провизию? Глупое предположение! Зачем немцам искать провизию в брошенном доме? Будто у них в роте нет каптенармуса!

Кто-то запел знакомую лейтенанту песенку «Лили Марлен»; затем донеслись отзвуки короткого, но резкого спора. Наконец все смолкло.

Тишина, гнетущая тишина повисла над подвалом. Стало слышно, когда Черемных проглатывал скопившуюся слюну.

Лейтенант уже оправился от страха. Есть что-то справедливое в том, что рядом с Черемных остался именно он, Олег Голованов, товарищ по экипажу.

Олег вспомнил вдруг слова, которые как-то написал Ларисе. В том письме он рассуждал о закалке характера: трус не любит жизни — он только боится ее потерять; трус не борется за жизнь — он только охраняет ее.

Ну, а он, Олег Голованов, до конца постоит за Черемных и за себя.

Пистолет заряжен, есть запасная обойма. Биться до последней капли крови!

Снова шаги над потолком и возня, будто кто-то вздумал там бороться или драться, и визгливый смех, и сердитый голос, зовущий кого-то, и окрик «Шнель!».

Черемных лежал неподвижно, не смея застонать. И сейчас ему казалось: это вот безмолвное лежание — самое мучительное из всего, что ему пришлось пережить; если бы разрешено было сейчас издать хотя бы один стон, сразу прекратились бы или, во всяком случае, утихли его страдания.

Какой, оказывается, мучительной может быть необходимость соблюдать тишину, когда гибельным может оказаться даже шумное дыхание, покашливание, легкий стон, чихание, икота, которую не удалось унять, слово, неосторожно произнесенное, шорох, стук.

«А как же наша разведка? — Лейтенант похолодел от внезапной догадки. — Ведь Пестряков и Тимоша ни о чем не подозревают! Подойдут к дому и нарвутся на новых жильцов».

Только сейчас он понял — товарищи находятся в значительно большей опасности. Ему и Черемных нужно лишь быть, что называется, тише воды, ниже травы. А товарищам еще нужно проникнуть в подвал дома, занятого противником! Хорошо, если новые квартиранты засветили какой-нибудь огонек. Хуже, если в доме темно, как прежде. Все сильнее он тревожился о тех, кто ушел. Как им дать знать?

Он осторожно вытащил подушку из оконца, прислушался, беззвучно переставил ящик — установил его стоймя. Пусть хоть это насторожит товарищей.

Однако еще до того, как Пестряков и Тимоша прокрались во двор и могли заметить поставленный стоймя ящик, они увидели отсветы огня в доме. Ставни со смотровыми щелями раскрыты.

В доме немцы! Впритирку к дому стоит немецкая цуг-машина с пушкой на прицепе.

«Калибр орудия сто пять, — отметил про себя Тимоша с привычной деловитостью, взглядевшись при отсветах зарева в пушку. — Везут к передовой».

Сколько же артиллеристы могут проторчать в доме? Судя по тому, что их машина стоит на улице без маскировки, орудие на прицепе, а чехол с дульного тормоза не снят, — расчет не занял здесь огневой позиции.

Ну что же, значит, нужно залезть, пока совсем не рассвело, в какой-нибудь укромный закуток по соседству, выждать, когда уберутся постельцы, а затем узнать, что с товарищами.





Пестряков и Тимоша без особых происшествий забрались на чердак дома напротив. Слуховое окно выходило на Церковную улицу, и оттуда удобно было вести наблюдение.

Как Пестряков и предполагал, артиллеристы остановились только на ночлег. Утром они собрались в дорогу, но собирались невыносимо долго. Тимоша провожал их проклятиями, ругал водителя, который напоследок, когда уже вся прислуга орудия расселась в машине, стал возиться с мотором, потом доливал газойль.

Цуг-машина скрылась из глаз, когда стало совсем светло, и дорога в подвал была отрезана.

И ведь так близко находился чердак от подвала, где остались товарищи: по прямой метров сто, не больше.

Отличный обзор открывался из слухового окна. Было видно, что город основательно пострадал от бомбардировки и обстрела. Кое-где поднимался дым, но при этом все трубы, из которых надлежит идти дыму, оставались холодными; виднелся только дым пожаров.

Особенно сильно пострадала кровля городка — морковно-бурачная пестрядь островерхих черепичных крыш. У одних домов торчали голые стропила, а вся черепица, стронутая взрывной волной со своего места, беспорядочно ссыпалась к карнизам. У других домов оголился лишь конек крыши, а черепица кое-как удержалась на крутых скатах. Онемевшие антенны торчали на крышах — одни во весь рост, другие покосились, пригнулись, переломились.

За тот день, который разведчики продежурили на чердаке, разрушений прибавилось. Наша тяжелая батарея часто устраивала артналеты. Осыпалась, крошилась черепица, и черепки летали заодно с осколками.

С каким прилежанием и упорством вел Пестряков после ночной слепого наблюдения! Жаль только, что день выдался пасмурный, видимость скверная. Он вновь и вновь всматривался, пока дальноточные глаза его не затуманивала усталость. Поглазет на серое низкое небо, чтобы рассеяться, дать отдых глазам, а затем снова продолжает наблюдение, накапливает догадки, сопоставляет приметы, делает предположения.

Пестряков все вглядывался в задние борта проходивших машин, на них виднелись красные скрещенные топоры. За последнее время он видел машины с трафаретом, изображающим виноградную кисть, желтого слона, а красные топоры — клеймо новой дивизии, видимо только что переброшенной на этот участок фронта.

Необходимо сегодня весь день вести наблюдение, с тем чтобы вечером вернуться в подвал и той же ночью отправиться через линию фронта. Пестряков отдавал себе отчет в том, как быстро в нынешних условиях стареют данные разведки — быстрее, чем сводка погоды.

Он все больше тревожился о товарищах в подвале. Может, они по-

пали в ловушку? Пестряков смотрел поверх забора и калитки во двор обжитого дома, куда им надлежало вернуться. Но сколько ни всматривался, ничего подозрительного не заметил.

Каким, однако, длинным умеет быть короткий осенний день! Как медленно оскудевает день светом, как неторопливы долгожданные сумерки!

С наступлением темноты Пестряков и Тимоша осторожно подошли к подвалу — все, как было. Лейтенант, едва только немцы убрались, поставил ящик, загораживающий оконце, в прежнее положение.

Пестряков три раза, как было условлено, стукнул прикладом о ящик, чтобы лейтенант погасил огонек и вытащил пуховую заслонку. Пестряков первым — по обыкновению, не слишком ловко — сполз в подвал, за ним прошмыгнул Тимоша.

Лейтенант торопливо, трясущимися от радости руками зажег плошку, и при ее мерцающем свете состоялось долгожданное свидание всех бойцов подвального гарнизона. Как и следовало ожидать, особенно шумно радовался Тимоша. Черемных с безмолвной нежностью смотрел на товарищей. Разлука длилась без малого сутки! У него нет сейчас на свете людей ближе и дороже.

— Танк не видели? — еле слышно спросил Черемных.

— Мы в той стороне не гуляли, — глухо отозвался Тимоша.

Черемных тяжело вздохнул.

Пестряков вытащил из-за пазухи обрывок немецкой афиши, исчерченной углем. Ну-ка, на углу каких улиц стоит афишная тумба?

Лейтенант подсел к столику, поднес обрывок афиши к фитильку.

— Это у вас явно Людендорфгассе. А вот здесь у вас, скорее всего... Что же это за буква? Ну конечно, как я сразу не расшифровал! Гитлерштрассе.

— Пока чертил, три ракеты отгорели, — усмехнулся в усы Пестряков. — Даже умаялся. Боялся, бумаги не хватит.

— А ну, покажите! — вдруг заволновался Тимоша. — Как этот гад поймему, по-немецкому, пишется... А по какому праву, ежели он Гитлер, у него буква «эн» впереди?

— Видите ли, Тимоша, — охотно принялся за объяснение лейтенант. — Произносится — Гитлер. Первоначальный звук обозначается по латинской транскрипции буквой «аш». А буква «аш» пишется, как русское «эн». Это такое смягченное «ха». Понятно?

— Немного меньше половины.

Пестряков нахмурил кустистые брови:

— Эх, была бы моя воля, я бы ему, гаду, те буквы смягчил! Веревку ему для петли и ту мягкую жалко!..

— А второе название — что за тарабарщина?

— Это знаменитый генерал Людендорф. Он еще с нами, с русскими, в ту мировую войну воевал.

— Одна собака другой на том углу дороги перебегает,— оживился Тимоша.— По-фрицевскому вообще ничего понять нельзя. Однако отдельные слова знаю! Ну, самые ходкие в немецком языке. Могу крупно поговорить с фрицем. Никто из «языков» не обижался. Знаю слова первой необходимости: «хальт», «хенде хох», «шнель», «ферботен», «цуюк», «шнапс»...

— «Шнапс» я тоже знаю.— Пестряков мечтательно разгладил усы и даже аппетитно крякнул.

Лейтенант не был особенно наблюдателен, но от обостренного внимания Черемных не ускользнули теплые нотки в разговоре между Тимошей и Пестряковым. Как снисходительно слушал Пестряков болтовню своего напарника! И что так быстро сдружило двух ершистых людей?

Ничто так не сближает людей, как совместно пережитая опасность. И верно говорят на фронте, что друзья познаются в бою.

Это тем более относится к людям, которые всю ночь прошагали по самому краешку жизни, опираясь друг на друга, держась друг за друга.

Пестряков понимал, какую ценность представляют разведданные, собранные минувшей ночью. Все, все было бы очень важно знать там, где готовятся к контраступлению на городок. И адрес штаба. И месторасположение зенитной батареи. И про наблюдательный пункт на кирке. И про новую дивизию со знаком «скрещенные топоры». И насчет горбатого моста, начиненного минами.

Пестряков перестал бы считать себя настоящим солдатом, если бы не попытался сообщить эти сведения командованию, переправить их через линию фронта. Он с готовностью отправился бы через фронт, взяв в напарники Тимошу. Однако оставить Черемных на попечении лейтенанта рискованно. Хлопотать в подвале за разведчика, часового, сани-тара и кормильца-поильца труднее трудного. И Пестряков понял, что его место — здесь, в подвале, где лежит Черемных.

А в случае чего, если наши отойдут еще дальше и вернутся домовладельцы, если наши опоздают прийти на выручку, он разделит участь Черемных. И это будет справедливо хотя бы потому, что лейтенанту и Тимоше, вместе взятым, столько же лет, сколько ему одному, и каждый из них годится ему в сыновья.

Пестряков долго сидел у доски, сосредоточенно изучая расстеленную на столе карту, и наконец сказал:

— Я так полагаю, товарищ лейтенант, что пришло время скликать добровольцев. Через фронт к нашим добраться.

Лейтенант, а следом за ним Тимоша поспешно выразили готовность идти.

— Вдвоем и двинетесь,— решил Пестряков.— Задача Тимоши — разведать тропку через линию фронта, прикрыть лейтенанта в случае чего огнем и — назад. Если лейтенантова граната останется без дела, принеси ее назад. Попробуй, Тимоша, провести лейтенанта южнее вот этого леска. Между этими фольварками.— И Пестряков ткнул длинным обкуренным пальцем в карту.— А теперь проверим оружие. Горячее и холодное.

— Вот мое холодное оружие.— Тимоша вытащил из-за голенища ложку, вытер ее грязной полкой шинели и засунул обратно.— Давно без работы...

Принялись чистить и смазывать оружие.

Пестряков скользнул взглядом по пустым ножнам, которые болтались на поясе у Тимоши:

— А где твой штык-кинжал?

— Фриц попался чересчур худой. Вежливо так поговорил с ним. Вот кинжал и застрял у него между ребер.

— Между ребер?— переспросил Пестряков подозрительно.— Наверное, потерял свой кинжал, раззява. Или консервы открывал да и сломал...

Тимоша смолчал — понял, с каким горьким беспокойством снаряжает их в путь-дорогу усатый десантник...

Пестряков первым собрал, зарядил автомат. С неизвестной прежде бережностью рассматривал он каждый патрон — вот царапинка на ободке, вот щербатинка на пуле. Он обтер автомат тряпкой, подобранной в углу подвала, и сказал:

— Боевого питания давно нету. Объявляю денеж боеприпасов по всей справедливости.

Мобилизовали и патроны из пистолета Черемных.

— Девятый патрон в расчет не берите,— попросил Черемных.— В случае чего... Самому себе точку поставить...

— Милый человек!— воскликнул Пестряков, обрывая выразительную и тягостную паузу, наступившую после слов Черемных.— Да кто же на последний патрон покушается? Твой энзэ. Неприкосновенный запас!

Начали пересчитывать боеприпасы.

У Тимоши оставалась граната и в автомате девять патронов. У лейтенанта — граната, девять патронов в пистолете да восемь в запасной обойме. У Пестрякова в автомате сохранилось шестнадцать патронов. Четыре своих патрона он передал Тимоше. Хорошо, что патроны от пистолета «ТТ» подходят к автомату! Пестряков собрался было поделить с Тимошей еще и восемь патронов, заем Черемных, но поразмыслил и отдал все — пусть Тимоша заряжает в свой диск.

Группа, уходившая через фронт, стала богаче подвального гарнизона на две гранаты и двадцать пять патронов, поскольку у лейтенанта и пистолет был заряжен полностью, и запасная обойма при нем сохранилась, а у Черемных оставался только его энзэ.

Пестряков озабоченно потерял ус, отстегнул от пояса кинжал и передал его Тимоше:

— Возьми, Тимошка, ножик... Какому-нибудь часовому вместо разводящего.

— Сергейка был маленький...— неожиданно подал голос Черемных.— Вместо «ножик» говорил «режик». Режу хлеб «режилом»...

Все замолчали.

До полуночи было еще далеко. Тимоша улегся на матрац и тут же заснул беззаботным сном, будто собрался сегодня сходить в кино, на последний сеанс, или на танцы.

А лейтенант долго не мог уснуть, он тяжело ворочался своим большим телом на тюфяке, который едва доставал ему до лодыжек. На правом боку лежать неудобно, потому что он заткнул за пояс гранату. Запал в гранату не был вставлен, однако лейтенант с непривычки касался ее очень осторожно. На левом боку он вообще не умел спать — мама отучила еще в детстве: «Кто же спит, стеснив сердце? В жизни нет ничего более вредного!» Он лежал на спине, по обыкновению закинув руки за голову, подложив планшет, уставясь в низкий потолок подвала.

Плоская с трудом освещала подвал, так что в углах его скапливалась темнота. Фитилек по-прежнему подмигивал каждому близкому снаряду.

Память снова возвращалась к тем минутам, когда он вытащил из люка бесчувственного Черемных.

Но приятнее размышлять сейчас о том, как он вернется к себе в бригаду.

С шумным восторгом встретят танкисты его, пропавшего без вести, кого уже похоронили! Он возвращается чуть ли не с того света, да еще приносит с собой ценные разведанные, которые обещают успех нового наступления, да такого наступления, перед которым сама крепость Кенигсберг не устоит.

Олег был бесконечно счастлив, что с наступлением позднего вечера навсегда выкарабкается из этой темной ловушки, в последний раз пролезет через узкий оконный проем, ведущий в мир. Ему не придется больше вслушиваться в каждый шорох, грохот наверху и подавлять в себе тревогу. Это даже не боязнь самой опасности, это боязнь, чтобы кто-нибудь не заметил, что ему вообще бывает страшно, и вторая боязнь намного больше первой.

Сейчас Олег совсем не задумывался об испытании, которое ожидало



его ночью,— пройти к своим при такой насыщенности фронта войсками, при такой плотности огня...

Завтра он будет среди своих, по ту сторону фронта. Он снова протиснется своими негабаритными плечами через люк танка! Какое это все-таки счастье — воевать на своем посту, делать умелыми руками то дело, которому обучен!

Да, завтра-послезавтра Олег уже будет в танковой бригаде. Весьма возможно, что пришли письма от Ларисы, от мамы. Может, в «Красноармейской правде» напечатали его стихотворение «Граница», которое он переправил в редакцию с очкастым корреспондентом.

Ему виделся день его приезда в Ленинград уже после победы в таких отчетливых подробностях, словно война давно закончилась.

Он нащупал в кармане гимнастерки ключ от английского замка, от парадного. В том же кармане хранится квитанция на сданный в самом начале войны радиоприемник «СВД-9» и там же в кармане лежит заветный гривенник. Скоро, скоро он позвонит маме с вокзала из телефона-автомата и прокричит ей голосом, который перехватит спазма восторга: «Мамочка, я приехал!»

Странно лишь, что поезд идет под обстрелом и лампочка на столике в купе все время мигает, отзываясь на каждый разрыв. Ведь блокада давно снята. Мама вернулась из эвакуации. Ленинград сызнова в глубоком тылу. А какое имеет значение, глубокий это тыл или не глубокий, ведь война уже окончилась, потому он и получил долгожданный отпуск домой!

Поезд с разгона громыкает по стрелкам, скоро перрон Московского вокзала. Поезд прибывает на знакомую пятую платформу, замедляет ход, но Олег все еще не может очнуться, и проводник вагона трясет его за плечо.

Олег вскакивает, протирает глаза, видит знакомую плешку на столе.

— Пора,— глухо говорит проводник, чьи обязанности почему-то исполняет Пестряков.— Тимошка уже собрался.

Пестряков озабоченно оглядел лейтенанта. Не хотелось, ох как не хотелось отправлять его без автомата в такую прогулку. Пистолет и граната — не богатый арсенал, но что поделаешь? Пестряков тоже не может остаться без оружия. Обе гранаты отдал. И кинжал свой пожертвовал. И обойму механика отдал Тимоше. В диске у Пестрякова осталось двенадцать патронов и один патрон особого назначения — у Черемных.

Черемных тяжело вздохнул. Лейтенант подошел к нему, склонился, поправил подушку, одеяло. Чем бы ему помочь? Лейтенанта не оставляло неловкое и виноватое сознание своего здоровья: возле тяжелораненого свое здоровье ощущается особенно остро.

Прощаясь с Черемных, лейтенант старался уверить, что разлучаются они совсем ненадолго.



— Живы будем — не помрем! — бодро заверил Тимоша. — Факт! До самой смерти своей не помрем...

Лейтенант хотел бы скрыть, что с удовольствием покидает осточертевший ему подвал, но от Пестрякова этого скрыть не удалось. Ему даже нравилось азартное нетерпение лейтенанта, оно так естественно и понятно. Стрелок-радист томится здесь, как в заточении. Он тяготится своей пехотной беспомощностью. Без танка он — как рыба, вытащенная на песок.

Тимоша же собирался в путь-дорогу с веселой расторопностью. Единственно, что его сейчас тревожило, — прореха на спине; кроме того, он все глубже напаяливал каску, так что оттопыренных ушей вовсе не стало видно.

Пестряков прислушался к удаляющимся шагам, не услышал их и заткнул оконце подушкой.

— Я тебя уже знаю... — Черемных запинался о каждый слог, во рту у него пересохло, слюны совсем не стало, и нечего было проглотить; он все время чувствовал свой язык, который ему очень мешал. — Значит, плохи наши дела, Пестряков... Если ты со мной остался... А ребята отправил.

Пестряков подсел к Черемных, приподнял ему голову, дал пригубить флагу с водой:

— Да, фронт от нашей берлоги отступил.

— Далеко?

— Километра два прибавилось.

— Дела-а-а...

— Лишь бы Гитлер наших дальше не потеснил. Жители в свои дома вернутся — сам понимаешь... — многозначительно пояснил Пестряков.

— Понять нетрудно.

— Будем оборону держать. — Пестряков передернул покатыми плечами: то ли он прибодрился на самом деле, то ли старался выглядеть бодряком. — У меня двенадцать патронов в автомате. Да у тебя неприкосновенный запас имеется. Итого — чёртова дюжина. Повоюем!

Пестряков задул плошку, открыл оконце и вылез из подвала: нет ли где тревожной перестрелки? Где-то пробираются к востоку лейтенант с Тимошей.

Пестряков решил отныне уходить еженощно в разведку и добывать хоть какую-нибудь провизию. Голод все настойчивее давал о себе знать. Пестряков с трудом вылез сегодня из подвала, чтобы прислушаться к ночи. Не дай бог ослабнет — плохо придется обоим.

Он и прежде не отличался особой ловкостью; как же воевать дальше, если руки и ноги налились такой тяжестью, словно в них скопилась усталость всех минувших переходов и боев?

«Пестряков пока на танк заберется,— прозвучал вдруг в ушах голос командира танка, с которым он в первый десант отправился,— можно хо-о-орошую сигарку выкурить. Ну прямо пассажир! Такого папашу не на броне возить, а в плацкартном вагоне...»

Впоследствии, конечно, Пестряков приобык и приспособился по мере сил. Но все-таки нельзя тягаться в его годы, при его одышке, с молодыми, которые на танк и с танка как белки сигают...

После ухода лейтенанта и Тимоши, после того как вылез Пестряков, подвал оказался Черемных очень просторным и значительно более холодным. Ведь и раньше, когда Черемных оставался в одиночестве, оконный проем не был закрыт подушкой. Или сильно похолодало на дворе? Или вчетвером удавалось надышать больше тепла? Или голод не позволяет согреться? Или плошка подбавляла тепла? Поддержать бы руки у фитилька — сразу согрелся бы,— по крайней мере, так Черемных казалось...

Пестряков вылез во двор, приставил к оконцу ящик, уселся на нем, привыкая к темноте, прислушиваясь. Затем собрался идти и уличил себя в том, что ему никак не удастся встать.

Черемных лежал недвижно, а значит, меньше расходовал энергии. К тому же он все время страдал от боли, а потому меньше страдал от голода. Или притерпелся к этому лишению, в придачу ко всем другим?

Не то чтобы Пестряков страдал сегодня от голода больше, чем вчера, но откуда-то вдруг взялось головокружение. Он боялся, что дальше будет еще хуже. Этак подвальный гарнизон всю свою боеспособность растеряет. Обязательно нужно промышлять по ночам съестное, иначе и Черемных не протянет долго.

Мало ли что Черемных не жалуется! Достаточно посмотреть, на кого он похож: нос и скулы заострились совсем по-мертвецки, и глаза запали, стали какие-то нездешние.

Не хватало бед, так еще подмораживает, особенно по ночам. И удивляться не приходится — ноябрь постучался к ним в скрипучую калитку. Плохо, что, когда Пестряков вылезает из подвала, он не может заткнуть за собой проем подушкой. А ящик из-под пива, приставленный к окну, плохо защищает Черемных от холода. В ящике такие щели — побольше, чем смотровые щели в танке.

Пестряков тревожно ощупал свою обувь. Обе подметки дырявые, один сапог просит каши. Но ведь не потому, что сапоги прохудились, ноги ему отказывают?!

«Встать!» — приказал себе Пестряков.

Но отныне его тело начало жить жизнью, независимой от сознания, отказывалось подчиняться его требованиям, оставалось неподвижным, когда получало приказ двигаться. И откуда только взялось такое биение

сердца? Будто Пестряков отрыл сейчас без передышки окоп полного профиля или долго бежал вдогонку за танком. Он сунул руку за пазуху, расстегнул гимнастерку, рубаху и ощупал грудь ниже левого соска. Сердце искать не пришлось, вот оно бьется-колотится, да так, что в ушах звенит. Звон не ослабевает. Может, поселился в ушах навсегда? Он с ужасом почувствовал, что слабеет, слабеет с каждым часом.

Вспомнил Пестряков, как в ночной разведке они с Тимошей в каком-то доме набрали на курятник. Целая птицеферма! Тимоше пух да перья даже в рот набились, он потом шел и все отплевывался. Может, не всех кур хозяева поймают, когда убежали? Может, какая-нибудь курица еще несется? Вот бы найти эти яйца, до которых сейчас никому нет дела! Сырые яйца даже полезнее, чем вареные. Но разве отыщешь ночью тот курятник, разве доберешься до той беспризорной наседки, если даже она и существует в природе?

«А не евши, не пивши — и поп помрет», — говаривал у них в смоленской деревне Непряхино пасечник Касьян.

Пестряков все еще сидел, не в силах подняться; он хотел переждать, пока пройдет головокружение.

И перед его закрытыми глазами с удивительной отчетливостью возникло поле за деревенской околицей, весенний луг, еще не прогретый как следует солнцем. И вот они вдвоем с матерью бредут по цепкой траве. То была голодная весна. Ели лебеду, смешивая ее с толченой корой, варили суп из крапивы. А весной вместе с тощей коровенкой отправлялись на поля за подножным кормом, подолгу бродили в поисках съедобных трав. Мать, склоняясь над травами, учила десятилетнего Петрушу: вот дикарка, иначе говоря, — дикая редька; вот пестушка, ее коричневые стебли проглядывают еще в марте прямо из-под снега; вот козлец...

А в Голландии, рассказывают, луковицы тюльпанов приспособились есть. Неплохо бы сейчас и тюльпанами полакомиться. И от ягод шиповника не отказался бы. И козлец, от которого губы трескаются, погрыз бы с аппетитом. И за махонький ломтик сырой картофелины поблагодарил бы. И маковые зернышки пожевал бы заново.

«Сколько уже времени прошло — у меня во рту маковой росинки не было. А какая она из себя, эта маковая росинка?»

Пестрякову стали являться голодные галлюцинации: он разгуливал, почему-то с миноискателем в руках, по фантастическому лугу, где вперемежку росли земляника, дикая редька, тюльпаны, щавель, красный мак, шиповник, лебеда и другие съедобные травы и ягоды.

Пестряков глотал слюну и никак не мог проглотить и двигал челюстями совсем так, как это делают, когда разжевывают пищу, когда на самом деле едят, а не только мечтают о еде.

Может быть, даже Пестряков на какое-то время забылся — заснул

или потерял сознание? — но в соседнем квартале бабахнул тяжелый снаряд, и этот разрыв заставил его очнуться.

Пестряков стряхнул с себя наконец слабость, поднялся на ноги и пошел со двора, у него едва хватило сил открыть скрипучую калитку.

Каменные плиты тротуара, казалось, гнулись под его тяжелыми ногами, а звезды ходили ходуном, покачивались в небе. Но он продолжал упрямо идти, и с каждым его шагом к земле возвращалась устойчивость, восстанавливался старый порядок в мироздании.

Ходить крадучись, подолгу стоять, прижавшись к стене, или лежать где-нибудь в водосточной канаве, да все это на голодный желудок, — так продрогнешь, что зуб на зуб не попадает.

Канавки, отделяющие мостовые от тротуаров, хороши, если они сухие и ветер намел в них много листьев. Попадают такие канавки под кленами, каштанами, где листьев намело вровень с мостовой; зароешься в них — и мягко, и тепло, и безопасно.

Пестрякову сразу стало еще более зябко, когда он в отдалении увидел костер, разложенный на перекрестке.

Немцы полулежали, полусидели вокруг костра; пламя бросало на их фигуры шаткие отсветы. Кто-то из них подбросил в костер дров, и огонь весело занялся.

Эх, неплохо бы надеть эдакую волшебную пилюльку-невидимку, пойти к костру, погреться.

«Сухой орешник — нет лучше дров для костра», — замечтался продрогший Пестряков.

Он приблизился. Ведь сколько немцы, сидящие у костра, ни вглядывались бы, они ничего не увидят вдали: темнота подступает к огню вплотную.

А если ракета? При ее опасном свете и костер этот станет желтой плоской, все будет видно вокруг.

«Как бы мне при этой ракете не пойти на размен...»

Э, да фашисты что-то варят в котелке. И не термос ли это стоит, подсвеченный сзади костром?

И согрелся уже Пестряков и наелся досыта! Осталось только вытереть губы и усы, которых не замочило...

Удаляясь от костра, Пестряков все время видел свою тень и, когда смотрел на нее, не чувствовал себя столь одиноким. Но вот плохо, что опасаться следует и за себя и за свою тень — ее ведь тоже могут заметить.

Тень ушла от Пестрякова через улицу и там маячила по стенам домов, по заборам. Пестряков невесело усмехнулся: выходит, прятаться нужно за двоих, а воевать в одиночку...

Особая осторожность требуется, когда доходишь до конца квартала и нужно завернуть за угол или перейти улицу. Здесь часто подтверждается то неписаное правило разведки, по которому прямая линия — вовсе не кратчайшее расстояние между двумя точками.

Пестряков прошел-прополз еще квартал.

Темные, необитаемые дома, сараи, гаражи, конюшни. Кое-где во дворах высятся темные печи: труба у тех печей поднимается конусом. Немцы специально выкладывают такие печи, чтобы коптить в них окорока, колбасы, грудинку. Может, какой-нибудь хозяин, любитель копченостей, позабыл когда-то вынуть из своей печи окорок?.. Еще бы забудет, держи рот шире!

Как же все-таки добыть пропитание? В темноте не разберешь, где вход, где выход, где кухня, а где лестница и погреб, где можно зажечь спичку, чтобы обшарить полки, шкафчики, а где это опасно.

Ведь и немецкие солдаты, оказавшись в этом выморочном городке, расположились бы на постой не столько в домах, сколько в подвалах — там можно укрыться от русских снарядов.

Пестряков обыскал уже три кухни, кладовку, обыскал погреб, извел не меньше двух десятков спичек, и — ничего съедобного. В погребе его напугал громкий шорох; оказалось — крысы. Наверное, крысы были заняты тем же самым — искали, чем бы поживиться. Он выбрался из погреба, подождал, пока загорится далекая ракета, высмотрел дорогу со двора, подождал, пока стемнеет, и направился к калитке.

Ему предстояло пересечь пустынную улицу, свернуть вправо, пойти вдоль забора.

И вот, когда Пестряков уже достиг противоположного тротуара, он зацепился ногой за проволоку и растянулся во весь рост. А все из-за этой несчастной подметки! Надо было отрезать ее напрочь — и вся недолга...

Если бы проволока была порвана, она бы стлалась по земле или повисла над землей свободно, а эта туго натянута. Очевидно, где-то рядом накренился или обрушился столб, и притом в дальнюю от Пестрякова сторону.

Проволока звенела на разные голоса, а тут еще о плиты тротуара загремел автомат. Трезвон поднялся такой, что его, наверное, слышно было в центре города, на самой верхотуре, на ратуше. И, как нарочно, в эту минуту в городке было тихо — ни выстрела.

— Хальт! — раздался из темноты хриплый окрик.

Он прозвучал близко, метрах в тридцати, а может, и в пятидесяти. Плохой слух не позволял Пестрякову установить расстояние более точно.

Много раз Пестряков слышал этот лающий, подобный выстрелу окрик, но никогда еще он так больно не ударял в уши, никогда еще не предвещал такую опасность.

Пестряков притаился. Проволока неугомонно позванивала на разные голоса, как аккорд мощных струн.

— Хальт! — прозвучал повторный, требовательный окрик, подкрепленный длинной очередью из автомата.

Пули просвистели рядом.

Пестряков все еще надеялся, что ему удастся отлежаться в темноте на плитах тротуара и немец — по-видимому, какой-то часовой, — отдав дань бдительности, перестанет обращать внимание на шум.

Но проволока продолжала предательски позванивать. Хорошо еще, что затухали пожары в городе и дремали, отдыхали ракетчики на переднем крае — совсем темно.

Часовой приближался. Четкая, железная неумолимость шагов. Пестрякову казалось, что двойники этого часового шагают сейчас по мостовым города, что его шаги отдаются сейчас эхом на всех улицах.

Часовой подходил все ближе. Пестряков оглянулся — отползти или бежать? Бежать опасно — можно вновь попасться в проволочные тенета. Отползти поздно. Ну, а если перемахнуть через каменный забор?

«Эх, ушла моя ловкость! Мне такой забор уже не осилить... Вот гады, до чего высокие заборы выкладывают!»

Пестряков с ненавистью посмотрел на забор, верхняя кромка его смутно виднелась.

Часовой сделал еще несколько шагов. Счет пошел на мгновения. Пестряков вскинул автомат — прогремело шесть выстрелов. Стрелял наугад, по звуку шагов, и, очевидно, промахнулся. Тут же отпрянул на десяток шагов вправо, вдоль забора. Он обнаружил себя вспышками выстрелов — необходимо сменить позицию. Пестрякову важно сейчас выиграть время. Не попретя же часовой очертя голову вперед, после того как его приветствовали огнем!

Тут же прогремела вторая, еще более длинная очередь часового. Пули щелкали о забор в том месте, откуда только что стрелял Пестряков.

Очевидно, и часовой сменил позицию, потому что вторая, короткая очередь Пестрякова снова прошла мимо цели.

«Однако сколько патронов я сейчас истратил — четыре или пять? Зря погорячился. Надо было стрелять скупее».

Сколько же патронов осталось: два или один? Очень трудно стрелять из автомата и все время считать остающиеся в диске патроны. Насколько все проще при дневном свете! По стреляным гильзам, которые выбрасывает автомат, всегда можно подсчитать, сколько ты произвел выстрелов.

Пестряков снова отбежал в сторону. Хоть бы какая-нибудь калитка, ворота, дверь, подворотня! Но не было конца-краю высоченному забору. Конечно, Тимошу такой забор не смутит бы — тот лазает по-кошачьи.

Новая очередь, пущенная часовым, прошла над самой головой.  
«Чуть-чуть меня пули не подстригли».

И он, впервые за последние дни, с пронзительным сожалением вспомнил о своей старой каске, которую выбросил за непригодностью возле горящего танка. Тогда осколок жажнул по каске, слегка сплющил ее и мучительно оглушил Пестрякова. Хорошо еще, что под каской пригнелась пилотка, она-то и спасла...

В любую минуту могла загореться ракета, которая и осветила бы во всех подробностях и деталях расстрел Пестрякова.

Он пошарил по кирпичной стене, нащупал какие-то стебли. Плющ? Дикий виноград? Хмель? Вот их сколько под рукой — стеблей, веток; иные довольно солидные — пожалуй, толщиной с патрон, никак не меньше.

Немцы сажают плющ со двора; он закидывает свой зеленый подол на улицу и свисает вдоль забора. Значит, за плющ можно хвататься руками? Была не была!

Пестряков уцепился, подтянулся на руках. Еще, еще, еще усилие!

Он уже лег животом на двусторонне покатую кромку забора, когда небо вдруг начало катастрофически светлеть. Ракета!

Пестряков неуклюже перевалился туловищем через забор, свесил ноги по другую его сторону и уже приготовился прыгнуть, но в этот момент кто-то с нечеловеческой силой ударил его в плечо и выбил из руки автомат.

Пестряков грохнулся с забора на какой-то колючий кустарник — не то шиповник, не то крыжовник, не то желтая акация. Хотел подобрать автомат, но это удалось с большим трудом — левая рука не слушалась.

Ощупал плечо. Пальцы и ладонь его стали липкими — кровь.

Он поднял автомат и при свете ракеты увидел, что приклад расщеплен. Но это было бы полбеды. Дернул затвор — ни туда ни сюда... Пули ударили в крышку ствольной коробки и что-то там накорезили...

Сколько ни пытался — диск снять не удавалось. А ведь в автомате еще оставался не то один, не то два патрона. Бросить автомат, хотя отныне и бесполезный, не хотелось, и Пестряков побежал с оружием, но безоружный по саду.

За забором не прекращалась стрельба. И сейчас уже не со злобой, но с неожиданной симпатией думал Пестряков о владельцах сада, которые сложили такой высоченный забор; спасибо — не пожалели кирпича и не оставили щелок.

Часовой не решился влезать при свете ракеты на забор. Он ведь не знал, что тот, кого преследует, уже не может, как минуто-другую назад, встать его огнем.

Сейчас, когда рука слушалась плохо, а пальцы слиплись от крови, стекавшей по намокшему рукаву, Пестрякову стало еще труднее

воевать с оградами и заборами, которые то и дело преграждали путь. Но по улицам шагать сейчас было опасно, переполох поднялся немалый.

Он спрятался в каретном сарае, где остро пахло лошадьми, сбруей и колесной мазью. Он различил очертания какого-то шарабана с задранными вверх оглоблями, поднялся по приступочке в плетеный кузов, заскрипевший своими рессорами, и улегся правым боком на кожаное пружинное сиденье.

Час, может быть, полтора часа проторчал он в каретном сарае. Ракетки уgomонились, давно пришло время вылезать из шарабана — сиденье уже стало липким от крови — и отправиться восвояси.

Он вышел во двор и при свете зарева осмотрел свой автомат; пули расщепили ложу, снесли прицел, повредили рукоятку затвора.

Плечо разболелось всерьез, рука ослабела. У Пестрякова появилось странное и противное ощущение, словно у него на левой руке пять милицев.

Он изрядно помучился, прежде чем ему удалось снять диск, — отказала защелка. Не два, а один-единственный заветный патрон оставался жить в автомате, но и тот патрон был сплюснут у шейки и пришел в негодность.

Пестряков подержал его у себя на ладони. Если в него не всматриваться, не ощупывать, то и не заподозришь, что патрон изувечен. Так приятно ощущать его тяжесть! Пестряков вздохнул и выбросил свой последний патрон.

Ну, а зачем таскать с собой бывший автомат — отныне не холодное и не горячее оружие? Тем более, что левая рука вышла из строя, а правая все время вытянута вперед — она нужна для того, чтобы ощупывать стены, открывать и закрывать ворота, калитки, двери. Иные из них подолгу не хотят открываться или враждебно откликаются скрипучими головами.

Плохо, очень плохо, когда и оружие за тобой подобрать некому, пусть даже то оружие вышло из строя. Пройдет здесь днем фашист — еще, гадючий сын, подумает, что от него советский боец бежал и оружие свое бросил, чтобы бежать было способнее...

Разбитый автомат стал обузой, но никак не разжимались пальцы, державшие его, не хватало решимости просто так вот бросить свое оружие на чужую землю.

Сколько дисков расстрелял он из своего автомата! Он знал на его ложе, на прикладе каждую прожилку, каждый сучочек! Пестряков вгляделся при смутном отсвете зарева, словно хотел запомнить, как автомат выглядел, погладил рукой расщепленную ложу и утопил автомат в бочке с дождевой водой, стоявшей у каретного сарая. Он склонился над бочкой, обратив к ней левое ухо, услышал бульканье и даже приглушенный стук приклада о дно бочки.



Прощай, боевой товарищ!

Только оставшись безоружным, Пестряков в полной мере почувствовал, как он несчастен. Чувство унижительной беспомощности овладело им. Ведь все эти годы он не расставался с оружием, кроме как в госпиталях. И вот в конце войны оказался беззащитным и совершенно безопасным для фашистов в этом городке, который переходит из рук в руки...

Значит, теперь он уже ничем не сможет, в случае чего, помочь Черемных, а если доберется благополучно до подвала, должен будет там сидеть в бездействии и ждать прихода наших, лишенный возможности воевать, наносить урон Гитлеру. Без этого Пестряков вообще не мыслил своего пребывания в городке.

Ну, а если гитлеровцы забредут в подвал? Возьмут его и товарища, которого он взялся охранять, голыми руками.

До подвала Пестряков добрался совсем обессиленный — пришлось пройти кружным путем чуть ли не полгородка.

Полагалось трижды стукнуть прикладом о ящик, закрывающий оконце, так было условлено. Попробовал сейчас притопнуть по ящику сапогом — не то. Трижды стукнул по дощечкам кулаком, вызвав глухой звук, — опять не то. И в этот момент Пестряков заново, с новой остротой ощутил потерю автомата.

Еще более неловко, чем обычно, Пестряков, придерживая правой рукой левую, прыгнул в подвал. И с плоской он, однорукий, возился дольше обыкновенного.

Как только засветился огонек, Черемных сразу заметил, что автомата нет. Да, невесело было признаться во всем.

Пестряков стал на колени перед Черемных, и тот длинными лоскутами простыни как мог перевязал ему плечо. К счастью, пуля ударила в мягкость, ранение было не из тяжелых.

И до того шинель висела на Пестрякове не очень-то складно, а сейчас, когда он с помощью Черемных влез в нее после перевязки, шинель и вовсе повисла, как на кривой вешалке; левое плечо, обмотанное лоскутами простыни, стало массивным, как лейтенантово.

Он не находил себе места и метался вокруг столика, баюкая правой рукой левую, прижатую к груди, а по стенам потолка маячила его отныне скособоченная тень.

— Танк мой видел? — спросил после перевязки Черемных, закрыв глаза.

— Рядом прополз.

— Ну, как он?

— Башня при нем осталась. Только черный весь сделался. При ракетах видно. Копотью его, углем обметало...

Своим вопросом Черемных только разбередил память Пестрякова.

Тот снова вспомнил, что к запасным тракам приторочен был «сидор», а в нем остались запасные диски к автомату. Семьдесят один или семьдесят два патрона в диске — да это же огромное богатство! Но к чему, собственно говоря, эти патроны, когда не стало автомата? Нужны ему сейчас запасные диски, как танкисту шпоры, как попу гармоны!..

Он с нежностью вспоминал свой автомат. Все, все было в нем дорого, даже антапки — гнутые угольнички, к которым прикрепляется ремень. Без антапок на плечо автомат не повесишь, значит, и антапка — оружие.

Да, Петр Аполлинариевич, отвоевался, раб божий. Ни горячего оружия, ни холодного. Знал бы — не отдал кинжал Тимоше. Надо самому себе правду сказать: дела идут на убыль. Как воевать дальше?

— Голова озябла, — пожаловался Черемных несмело.

— Вот мытары! Возьми мою папаху. — Пестряков протянул мятую пилотку и сам напялил ее на голову Черемных. — Угрейся! Мне самому невдогад было. У нас теперь один головной убор на двоих... И патрон на двоих.

«Не забыл усач о моем последнем патроне, — встревожился Черемных. — Покушается? Не имеет никакого права! Это моя увольнительная из плена. Что же, я совсем раздетый останусь? Сам себе, в случае чего, не помогу на самый на последний в этой жизни напоследок!»

Много всяких лишений довелось испытать Пестрякову в разных фронтовых передрягах и многого ему тогда доставало: страдал от голода; мыкался без смены белья, надевал обмундирование на голое тело; бедствовал без огонька; мечтал о сухой бересте, когда нужно было разжечь костер, а сырой хворост никак не принимался гореть; грезил о стеганом ватнике под шинель, о сухих портянках; мечтал о какой ни на есть крыше над головой, пусть это будет шалашик с кровлей из еловых веток, лишь бы ветки были разлапистей, погуще легла хвоя; его настигала такая жажда, что он не гнушался пить зацветающую болотной зеленью воду; тосковал до дрожи в руках о табачке, пусть бы даже этого табачка хватило на две затяжки; примерзал к ледовитой земле, когда мокрую шинель прихватывало ночью морозом... Да мало ли какие невзгоды подстерегали Пестрякова на его стежках-дорожках, из которых иные просматривались и простреливались противником?! Но никогда еще Пестряков не страдал от полной безоружности. И нужно же было случиться такой беде — он оказался в фашистской берлоге без всякого оружия; хоть бери его, Петра Аполлинариевича, голыми руками.

Он снова, уже в который раз за день, вспомнил про свой «сидор», который остался на броне танка, и заново рассердился на себя: «Не мог я, старый хрыч, насыпать пригоршню патронов в карман. Был бы у меня полный диск, я бы дал длинную-предлинную очередь, безо всякого регламента. Не стал бы каждый патрон считать, может, и пришел бы того фашиста к земле».

Пестряков вздремнул, и ему приснился старшина на патронном пункте десантников, шумный, суетливый толстяк. В последний раз он напутствовал Пестрякова: «Бери целый ящик. Дотащишь! Кто же натошак воюет? Не жалей на фашистов боевого питания!»

Он тащит патроны, но ящик вырывается из рук, падает со страшным грохотом, разбивается, и пачки с патронами рассыпаются. Пестряков судорожно собирает патроны, но грохот не прекращается...

Он очнулся от мимолетного сна и сразу хватился — где же автомат?

Он привычно ощупал грудь, пошарил по тюфяку и вспомнил все.

С тоской взглянул он в угол подвала, где валялся брошенный Тимошей пустой парабеллум, повернулся, мельком взглянул на Черемных; у него под изголовьем чернел пистолет. Пестряков старался не смотреть в ту сторону, да это ему и неудобно было, потому что он мог лежать теперь лишь на правом боку, спиной к Черемных. И все-таки нет-нет да и вертел головой на длинной, худой шее — не мог отвести глаз от злополучного пистолета. Просто какое-то наваждение!

О чем бы Пестряков ни заставлял себя думать, он возвращался мыслями к пистолету Черемных. Пестряков сердился на себя, но все-таки никак, ну никак не мог забыть о том, что у Черемных остался патрон. Один-единственный патрон в пистолете, но какая это ценность!

— Ночью пойду себе оружие промышлять, — произнес наконец Пестряков.

Он говорил себе под нос, глухо, но Черемных понял, что это сказано прежде всего для него.

— С голыми руками?

— Зачем? Пестик вот возьму медный. — Пестряков недобро усмехнулся и кивнул в угол, где стояла ступка. — Тоже холодное оружие!

Черемных промолчал. Но теперь уже и он не мог думать ни о чем, кроме своего патрона. Он готов был возмущаться, протестовать, ругаться, если бы Пестряков предъявил права на этот патрон.

Пестряков тяжело и шумно ворочал на тюфяке свое долговязое тело, без конца кряхтел. И его тревога неотвратимо передавалась Черемных.

Он оставил последний патрон для самозащиты. Ну, а Пестряков? Ведь свой боезапас Пестряков израсходовал, когда воевал за обоих? И пропитание он добывал на них, на двоих, и разведку вел за двоих. Значит, и несчастье его с автоматом — несчастье общее.

Товарищи распорядились его, Черемных, жизнью, когда затащили в подвал. Значит, и смертью своей Черемных распорядиться не вправе. Ведь один патрон двух человек от плена не избавит! Зачем же тогда держать патрон про такой запас? На каком основании он, Черемных, хочет отдать самому себе предпочтение?

Он всегда думал о людях, попавших в плен, с оттенком презритель-

ного сострадания. Конечно, если в плен захватили человека, истекавшего кровью от ран или в бессознательном состоянии,— разговор особый. Но солдат, у которого оставалась хоть бы одна пуля, не имел воинского права сдаваться в плен. В подобных обстоятельствах не покончить самоубийством — трусость.

Так рассуждал Черемных прежде.

А сохраняет ли право на последнюю пулю инвалид, которого уже нельзя назвать солдатом, когда он имеет возможность убить той пулей здравствующего фашиста? Каждый солдат дорожит жизнью, и, если уж прощается с нею, пусть противник заплатит за его жизнь самой дорогой ценой!

Эта мысль явилась сейчас из каких-то тайников и закоулков сознания как откровение. Мысль взбудоражила Черемных; он опять приподнялся на локтях, порываясь встать, но боль мгновенно утихомирила его.

Значит, попадали в плен и герои, которые не позволили себе застрелиться, потому что предназначили последнюю пулю для врага, отомстили врагу, рассчитались с врагом на самом пороге смерти. И как было несправедливо с его, Черемных, стороны презрительно думать о тех людях с несчастливой, горькой судьбой.

Трусые, дезертиры, предатели не дождутся сочувствия от него, Михаила Черемных. Но он отказывается зачислять всех без исключения военнопленных в одну грязную компанию.

Ведь нет ценнее того героизма, о котором никто из своих и не подозревает. Лишь совесть солдата — судья последних минут, которые он прожил.

Сейчас уже все недавнее поведение Черемных, и не столько поведение, сколько чувства, ход мыслей — когда он считал, что Пестряков не имеет права покушаться на последний, заветный патрон,— предстали совсем в ином свете, и он понял, как эгоистично, неблагородно было рассуждать подобным образом.

Черемных снова попытался привстать с лежанки и застонал. Пестряков, который баюкал своей правой рукой левую, ноющую в плече, настороженно вытянул голову на худой шее и обратил к Черемных левое ухо.

— Бери...— Черемных протянул свой пистолет.

— Бери.

Пестряков двумя руками бережно взял пистолет и еще более бережно засунул его за отворот шинели.

Пестряков быстро забылся сном — сказались переутомление и потеря крови, а может быть, и то душевное успокоение, которое обретает солдат, когда он после трудной разлуки вновь оказывается при оружии.



Черемных же, напротив, одолела тревожная беспомощность — она неминуемо приходит к изголовью раненого безоружного солдата. Он был не в силах отделаться от ощущения полной незащитности; он уже совсем иначе, чем несколько минут назад, прислушивался к шорохам ночи, к порывам ветра на дворе, к грохочущей бессоннице земли и неба.

И страшная тоска о жизни, зависть ко всем, кто остался по ту сторону фронта, овладела им. Те фронтовики, все до одного, надеются на возвращение домой. А на что может надеяться он, Михаил Черемных, обреченный на смерть то ли от голода, то ли от палаческой пули, то ли от гангрены, которая, наверное, уже поднимается к сердцу?

Не думать о ранах, забыть о боли, а только вспоминать, вспоминать, вспоминать.

И как всегда, в самые трудные минуты, когда Черемных хотел освежиться душой, он принимал к роднику воспоминаний, и прежде всего память его обращалась к дому, к Стеше, а чаще и охотнее всего — к сыну.

Сергейка еще не ходил в школу, когда отец впервые взял его к себе на электровоз. Пусть прокатится по руднику, пусть поглядит с горы на крышу своего дома, на свою улицу. Сергейке очень понравилось в будке электровоза и вообще на руднике. Все заговаривали с ним, показывали разные разности. Когда возвращались домой, Сергейка спросил у отца: «Почему только мне вопросы задавали? Вот у тебя никто не спрашивал, сколько тебе лет и как зовут».

А день поступления в школу! Сергейке не хватало полутора месяцев до восьми лет. Новый учебный год вот-вот начнется, а по-прежнему неясно — примут его или не примут. Сергейка совсем извелся и клянчил, чтобы ему купили портфель. Он был убежден, что все дело в портфеле, и, если купят, в школу примут обязательно. Портфель купили, и с того дня Сергейка спал, положив его под подушку — боялся, что отнимут. Из дому Сергейка уходил в школу как бы и не очень торопясь, степенно так прощался, а только за дверь — бегом бежал. Ходикам не верил, все боялся опоздать. А когда подошли первые каникулы, Сергейка очень томился тем, что они такие длинные — как бы не разучиться писать на каникулах! Тогда же он вдруг спросил: «Скажи, папа, почему учителя придумали таблицу умножения, а нет такой таблицы деления?»

А вот как Сергейка учился потом, как втянулся в школьные занятия — этого Черемных не помнил. До обидного мало подробностей Сергеекиного детства сохранилось в памяти. Как же он, отец, бывал к сыну невнимателен, равнодушен! А сейчас Серега уже большой, в четвертый класс перешел. Стеша писала — с матерью не ходит в баню, стесняется, а одного посылать еще рано.

И он с жгучей болью вспомнил, как ходил с сыном в баню и как тер

ему спину. Вода стекала по затылку, плечикам, между острыми лопатками мальчика. Смуглое тело нежно лоснилось, все в мыльной воде, податливое под мочалкой. Сергейка, чтобы не остаться в долгу, старательно подражая отцу, пыхтя и отдуваясь, тер отцовскую спину. А потом в глаза ему непременно попадало мыло, и отец торопливо вел ослепшего парнишку к холодному крану.

Стоило Черемных представить себе струю обжигающе холодной воды, как нестерпимо захотелось пить. Он облизал потрескавшиеся губы и взглянул на спящего Пестрякова, но будить не отважился — потерплю!..

Однако Пестряков сам проснулся после близкого разрыва и напоил Черемных.

— Не нужно было из-за меня идти на жертву, — тяжело вздохнул Черемных. — Надо было вам вдвоем через фронт подаваться.

— А тебя куда, безногого?

— Я бы распорядился собой. — Черемных показал подбородком на рукоятку своего пистолета, торчащего у Пестрякова из-за отворота шинели.

— Про ту пулю забудь. Та пуля фашиста ждет-дожидается!

Пестряков энергично взмахнул руками, сильно вылезшими из рукавов изжеванной шинели, левая рука при этом была осторожно прижата локтем. И тень от простертых рук скользнула по стене черными крыльями невиданной птицы.

Огонек вздрагивал и мигал, отзываясь на разрывы. Несколько раз в течение дня, который обоим показался длиннее летнего, Пестряков вытаскивал из проема подушку и вслушивался, пытаясь определить, что нового в городке. День был на редкость погожий, солнечный, и Пестряков, когда засматривал в оконце, видел клочок голубого неба.

Небо сегодня обещало звездную ночь. Такая ночь несет известные удобства для разведчика — она помогает вести наблюдение. В ясную ночь лучше видны зарницы и сполохи переднего края, опытному солдату легче читать на черном экране неба сводку близкого боя.

Но Пестряков правильно считал эту хорошую погоду плохой, потому что такая ясная ночь делает более уязвимым самого разведчика и сильно затрудняет его жестокую задачу. Когда шумит ветер, моросит дождь, слух часового притупляется; он норовит поднять воротник, ниже напяливает на уши каску или пилотку, а может быть, даже прячет руки в карманах. Да и ракеты теряют свою силу при низкой облачности...

— Ну, мне пора, — произнес наконец Пестряков.

Черемных поспешно снял с себя и протянул пилотку, взятую напрокат. Пестряков надел свою пилотку, оставив уши открытыми, и сказал, криво усмехнувшись:

— Я сегодня от фашиста не побегу. Некуда мне бежать. Но и фашист от меня не убежит.

Пестряков накрыл Черемных перинкой, погасил плошку и уже в темноте промолвил:

— Сердце что-то у меня начало хандрить. Надо его сжать в кулак. Ну, бывай!

Пестряков подошел к оконцу. Он и раньше не отличался ловкостью, а ныне лез и вовсе неуклюже — правым плечом вперед, оберегая левое, не решаясь притом опереться о подоконник левой рукой.

На Черемных сразу пахнуло стылой ночью. В предзимье совсем ни к чему такая форточка...

И вот человек, у которого на вооружении один-единственный патрон, остается наедине с ночью в чужом городе.

Теперь уже те двенадцать патронов, которые Пестрякову достались после второй дележки в подвале, представлялись несметным богатством. А как он распорядился ими? Эх, недотепа усатый, ни одного фашиста не истратил...

Время от времени слышались короткие автоматные очереди, но они доносились не с переднего края. Пестряков по себе знает: и ко сну тебя перестает клонить, когда стоишь на посту и прогрохочет у тебя над ухом длинной очередью.

А сейчас гитлеровцы наверняка встревожены вчерашним происшествием — появлением ночного незнакомца, который отстреливался, а затем перелез через забор и скрылся в саду. Вот и перекликаются друг с другом, бьют очередями в звездное небо.

Он тяжело вздохнул, следя взглядом за зеленым пунктиром трассирующих пуль, прочертивших небо наперерез Млечному Пути.

С тех пор как у Пестрякова притупился слух, он стал внимательнее следить за трассирующими пулями. Все-таки видишь, где опасность.

Как же подкараулить фашиста и обезоружить его?

Нужно выбрать для этой цели часового-одиначку. Оружие часового всегда у руки, а не спрятано под шинелью, под плащом. Лишь бы у него не было рана на спине — ведь стрелять придется сзади.

Небо сегодня звездное, погода летная, поэтому зенитчики наверняка не дремлют, с орудий сняты чехлы.

Пестряков знал, что зенитная батарея стоит в районе кирки, и двинулся в том направлении.

Он прошел несколько кварталов строго на восток, достиг набережной канала и увидел наконец на фоне неба, подсвеченного пожаром, задранный вверх ствол зенитной пушки. Почему же у зенитки не торчит часовой?

Пестряков едва успел этому удивиться, как в отдалении послышались шаги. Конечно, окажись Тимоша рядом — он и слышит, как летучая



мышь, и видит ночью, как сова,— можно было бы те шаги еще раньше засечь.

Чего это часовой разгулялся? Ага, значит, на его попечении не одна, а две зенитки.

Эта вот зенитка стоит на набережной, место открытое, здесь к часовому незаметно не подобраться.

Между тем часовой свернул обратно в узкую улочку, откуда появился. Там бы ему дорогу и перебежать.

Пестряков пробрался дворами и палисадниками на узкую улочку. Здесь, за каменным забором, он решил устроить засаду. Весьма кстати, что ракеты загораются на востоке,— когда светлеет, Пестряков прячется в тени забора.

Пестряков мерз, притулившись к забору, леденившему сквозь бинты простреленное плечо. Пестряков зябнет все сильнее, будто шинель его становится все более тонкой и короткой. И вместе с Пестряковым зябли мертвые неопавшие листья на кряжистом дубе, растущем через улочку.

Хорошо, если бы часовой дошел до ворот в тот момент, когда бьют орудия,— спрятать за громом выстрел.

К ночи должно похолодать еще больше. Это плохо, потому что деревенеют пальцы, зябнет спина и мучительно стоять не шевелясь. Но в то же время это хорошо, потому что часовой, наверное, не будет стоять как вкопанный, а станет прогуливаться от угла до угла.

Так и есть, стучат сапоги. Каждый шаг гулко отдается в ночном перелуке.

Шаги все ближе. Пестряков перестает дышать, теперь он стоит, не шелохнется. Пистолет держит в вытянутой вниз руке, палец на спусковом крючке.

«Шагай, шагай, фашист. Сейчас мы с тобой встретимся и уже никак не разминемся. Только один доживет до солнца. Кому ложиться в сырую землю — мне или тебе?..»

Часовой вышагивал не торопясь, каждый шаг его кованых сапог становился громче, а под конец оглушительно отдавался в ушах. Но когда до ворот оставалось с десять шагов, не более, вновь загорелась ракета — она заставила потускнеть все звезды. В ее свете стали видны улочка из конца в конец и черный широкоплечий силуэт часового на фоне белесого неба.

Виден был и желанный автомат, висящий на плече дулом вниз.

Пестряков успел также заметить, что ранца за спиной у часового нет, а через плечо надет и болтается на левом боку футляр от противогаза.

При охоте за «языком» самая ценная добыча — офицер, но сейчас офицер с картой в планшете и пистолетом в кобуре ни к чему, сейчас нужен солдат с автоматом.

Дюжий, однако, детина на пост заступил!

Выходить при ярком свете из укрытия, пусть для того чтобы сделать несколько шагов, рискованно. Один-единственный патрон в пистолете, а зависят от этого патрона две жизни: его и жизнь Черемных, который лежит там, в подвале, замурованный, и чутко прислушивается — не идет ли назад товарищ.

Нет, нельзя выходить из своего укрытия при свете ракеты.

И часовой прошел мимо ворот, все так же громохкая коваными сапогами, с завидной свободой хода, которому нечего бояться своих шагов. Как давно уже он, Пестряков, не ходил такой вот безбоязненной походкой, не озираясь опасливо по сторонам, не пугаясь своей тени, не осторожничая все время!

Никогда еще Черемных не страдал так, как сейчас, после ухода Пестрякова.

Что может быть хуже беззащитного и мучительного одиночества? Напряженно вслушиваться в каждый шорох, в каждый скрип ставня, болтающегося без привязи на ветру, слышать жестяной голос водосточной трубы у самого окна.

Больше всего Черемных устал оттого, что опасливо вслушивался в шумы и шорохи окружающего его мира, а не вслушиваться он, безоружный и неподвижный человек, никак не мог.

Ему уже давно нечего было делать, кроме как терпеть свою беду. Он научился совсем не шевелиться, он приучил свое тело к полной неподвижности, и тогда боль в ногах ощутимо уменьшалась. Возможно, боль донимала его по-прежнему, а Черемных научился ее не замечать, не признавался себе в том, что ему больно. Лучше бы эта боль не уменьшалась, потому что вслед за этим кратковременным успокоением его настигал новый приступ и он казался еще более мучительным, чем те, которые перевозмог прежде.

Черемных снова и снова надолго закрывал глаза, будто в полной темноте мог почерпнуть новое терпение и новую выносливость. На сколько страданий может хватить одного человека?

Сегодня ему так плохо, как еще никогда не было. Такие страдания не могут длиться долго; скоро, скоро им наступит конец. У него уже совсем не осталось сил, чтобы страдать.

Каждое новое утро Черемных встречал с печальным удивлением. Он уже с трудом может вообразить себе самочувствие и ощущения здорового человека, каким сам был когда-то. Неужели и он некогда ступал по земле обеими ногами, ходил, как все люди?

Если бы он мог затормозить, а еще лучше — вовсе остановить работу мозга! Выключить мозг, как он выключал мотор танка.



Увы, нет в природе такой силы, которая может разлучить живого человека с его памятью, лишить самого себя сознания. Человек не в состоянии отказаться от способности думать, вспоминать, жалеть, ждать, мысленно прощаться, надеяться, рыдать навзрыд.

Боязно было остаться одному после того, как Пестряков отправился на охоту, а сейчас Черемных даже обрадовался своему горькому одиночеству. Он старался, изо всех сил старался не падать духом при товарищах, не показывать, как ему плохо. Но в одиночестве-то он имеет право самому себе пожаловаться на судьбу? Наедине-то с собой он может посмотреть правде в лицо?!

Он все сильнее тревожился за Пестрякова, который сейчас где-то промышляет оружие.

«Воюет натошак, голова у него, наверное, кружится и ноги не держат, хоть и не перебитые они, как мои... А может, из-за меня пострадал...»

Часовой прошел мимо, и Пестряков почувствовал облегчение. Вновь можно размяться, переступить с ноги на ногу, заложить руку с пистолетом за отворот шинели, а главное, вдоволь, не сдерживая дыхания, надышаться.

Не было бы только осечки! Надо выстрелить в упор, ткнув дуло в шинель.

В порядке ли пистолет у Черемных? Может, он из него спокон века не стрелял? Механик-водитель танка стрелковым оружием редко пользуется. Только сейчас Пестряков вспомнил — Черемных пистолета и не доставал, когда в подвале была объявлена чистка оружия.

«Как же я, старый хрыч, самолично не перебрал пистолет перед этой экскурсией? Не проверил до винтика? Обрадовался подарку. И на радостях забыл о том, о чем стрелку забывать не полагается...»

Обратно часовой, если он не застрянет возле зенитки на берегу канала, прошагает через минуту-другую. Лишь бы часовой вновь прошел по этому же тротуару.

«Мне с одним патроном лицом к лицу нельзя выходить. Если бы не каска, лучше было бы стрелять фашисту в затылок, а сейчас — придется — в спину.

Автомат висит у фашиста на плече, дулом вниз, он придерживает автомат рукой. А вот есть ли у него запасные магазины с патронами? Обычно немцы засовывают магазины за широкие голенища сапог.

Удастся ли его обыскать после того, что произойдет? Каску нужно будет мобилизовать. Интересно, что хранится в противогазе? Не пустой же футляр он таскает! А свою пилотку отдам Черемных — не может человек на белом свете без шапки жить... Не забыть бы и про флягу.

Может, там найдется что-нибудь для Черемных. В крайнем случае, даже не согревающее, пусть — просто кофе...»

Часовой приближается вторично, и Пестряков вновь вытягивается и замирает, косясь в ту сторону, где смутно виднеется отрезок тротуара.

Рядом с часовым шагает еще кто-то. А может, мерещится? Может, это только тень? Но почему тогда так оглушительно топочет часовой? И почему он вдруг разминулся со своей тенью?

Ах, вот оно что! Часового кто-то обгоняет. И не один, даже двое их.

Пестряков видит, что эти двое — офицеры; светятся гербы на фуражках с высокими тульями, светятся пуговицы на шинелях и серебряное шитье на воротниках.

Тот, кто шел слева, у кого шинель была внакидку, насвистывал какую-то мелодию. Все, все им дозволяется: и сапогами топать, и громко разговаривать, и свистеть, что взбрет в голову.

Часовой и не подозревает, что этим двум случайным прохожим он сейчас обязан своим спасением.

Снова Пестряков может перевести дыхание и все спокойно обдумать. Увы, часовой вторично прошагал мимо ворот, а дело сорвалось. Ни автомата, ни патронов к нему в запас, ни флаги, пусть даже в ней не согревающее, а кофе... И так близко часовой шел на этот раз, едва не задев плечом забор! Выпадет ли еще такая удача!..

В третий раз часовой прошагал почему-то не по ближнему тротуару, а по противоположному, на расстоянии десяти — двенадцати шагов от Пестрякова. И какая-то неугомонная батарея вела огонь. За такой канонадой нетрудно спрятать выстрел. Но о каком выстреле может идти речь, если часовой вышагивает по другому краю света? Шутка сказать: десять — двенадцать шагов!

Если бы не левое плечо, не рука, которая так ослабела, Пестряков решил бы выйти сейчас из укрытия. На крайний случай сошелся бы с фашистом врукопашную. Но где ему сейчас, одорукому, голодному выдюжить против такого верзилы? Разве он, Петр Аполлиариевич, так харчил все последние дни?

И почему пришла вдруг часовому эдакая блажь — податься на другую сторону улочки? Или его что-то насторожило на этом тротуаре? Или кренделит по улочке безотчетно, сам не замечает, по какой стороне? Ну, а если вообще на свои следы не вернется?

— Что же ты меня подвел, фашистская твоя душа? — прошептал Пестряков с гневным укором, но тут же беззвучно, про себя, рассмеялся.

Да ведь он сейчас совсем уподобился Тимоше, когда тот адресовался к фрицам с претензиями: то они ему мак вместо хлеба оставили, то не торопились увозить свою проклятую пушку на прицепе.

С неожиданной теплотой Пестряков вспомнил о Тимоше: надежный он спутник в разведке, а уж каким бы оказался помощником сейчас, в засаде! Вот ведь все-таки: лентяй — да прилежный, нёслух — да послушный. А хорошо было бы еще раз повидать Тимошу, когда он вернется назад, только навряд ли уже приведется...

Часовой неторопливо шагал в отдалении.

«Кто ты такой, сторожишь свои зенитные пушки и ходишь, надвинув каску на самые глаза? И как тебя звать? Может, мы с тобой погодки? Может, ты и лучше меня. И лицом красивее. Может, у тебя и способностей больше моего в жизни обнаружилось и умения всякого накопилось. Я ведь только крестьянствовать могу. Ну, с топором в лесу не заблужусь. В молодые годы корабельные сосны в одиночку валил. Ну, плотничаю самоучкой потихоньку. А больше талантов за мной не водится.

Кто же ты, мой супротивник, с которым свела меня фронтовая тропка, да такая узкая, что нам вдвоем никак не разминуться? Придется кому-то потесниться, уступить дорогу, отрешиться от жизни».

Пестряков заново ожесточился против шагающего часового. И какая нечистая сила потащила его на тот, дальний край улочки, за мостовую?

«А ну, ответствуй, не ты дочку Настеньку в плен угнал? Не ты спалил наш дом? И что тебе на Смоленщине нашей нужно было, черная душа? Не завоюй ты наше Непряхино, и я к тебе под Гольдап этот самый сроду не пришел бы!.. Взять бы вот, выйти из-за ворот, поздороваться и спросить у этого фашиста честь по чести: «Ну, зачем ты пошел на Россию войной?» Как же, спросишь его, нечистую силу! Сразу очередью из автомата полоснет и надвое перережет. Ему патронов не считать, не беречь. А вот мне Черемных свой последний патрон доверил...»

— Совсем я развинтился! — шепотом прикрикнул Пестряков на себя.

В голове стало туманиться, обрывки мыслей и воспоминаний мерцали в сознании без всякой связи, и все они, вместе взятые, походили на бред.

«И с чего я бредить начал? Никогда раньше бреда за собой не замечал. Может, с голодухи? Интересно все-таки, что сегодня давали зенитчикам на ужин?..»

Часовой потоптался около зенитки на набережной, видимо озяб, и снова зашагал.

Шаги становились все более громкими — часовой был тяжел на ногу.

Какой же тротуар он выберет для прогулки?

Часовой выбрал ближний тротуар, тот, где стоял в засаде Пестряков.

Пестряков замер, изготовился к броску, но часовой, не дойдя до ворот, вдруг почему-то замедлил шаги. Почуял опасность? Насторожился?

Хорошо бы услышать дыхание часового. Если дыхание не осеклось, значит, он ничего не заметил. Но Пестряков вслушивался тщетно — не для его ушей подобная задача.

Тут же загромыхал коробок со спичками, вспыхнул нестерпимо яркий язычок пламени, и до Пестрякова донесся запах табака. И от этого чужого, но бесконечно желанного запаха у Пестрякова сразу закружилась голова, задрожали колени и в горле мгновенно пересохло так, что стало першить. Как бы не кашлянуть ненароком...

По руке, держащей пистолет, пробежала дрожь. И как он ни пытался унять дрожь, рука не слушалась и слабела все больше. А ведь какой удачный момент был! И ракета только что отгорела, по обыкновению сгустив после себя черноту ночи.

Каждый гулкий удар все удалявшихся сапог отзывался в ушах Пестрякова стыдом и болью. Изнемог, не сдюжил, Петр Аполлиinarieвич. Нервы появились, заячья твоя душа? Хорошо еще, что Черемных этого срама не видел.

Пестряков разозлился на самого себя, на того, другого Пестрякова, у которого задрожали колени и ослабела рука, который не решился произвести выстрел, истратить последний боеприпас их гарнизона, где Пестряков состоит и санитаром сейчас, и разведчиком, и интендантом, и караульным, и главнокомандующим.

И Пестрякову стало страшно при мысли, что Михаил Михалыч Черемных никогда не дожидется своего убитого товарища. Даже если наши войдут в городок, Черемных останется без помощи — кому же придет в голову залезть в подвал, заставленный ящиком?

Эта мысль была сейчас страшнее понимания того, что этим убитым, не вернувшимся товарищем Черемных будет он сам, Пестряков Петр Аполлиinarieвич. И чувство ответственности за жизнь Черемных помогло Пестрякову превозмочь минутную слабость.

Когда фашист в пятый раз приблизился к воротам, Пестряков подстергал его хладнокровно и уверенно.

Не его вина, что в этот момент снова взвилась ракета, осветив скоротечным светом городок — крутые черепичные крыши и острый штык ратуши, воткнутый в небо.

Ну что же, значит, придется подождать еще несколько минут. Пусть фашист прогуляется напоследок еще разок до набережной, полюбуется своей зениткой, а затем пройдет по улочке до этих вот ворот, сорванных с петель.

У этого часового особенно звучные, грохочущие сапоги. Шаг, шаг, еще шаг.

«Теперь пора»,— решает Пестряков.

Но еще до этого решения какая-то могучая и неудержимая сила подсознательно вымчала его из-за кирпичного столба ворот.

Пестряков едва не наткнулся на черную спину часового, и не успел тот обернуться на шум, как грохнулся наземь, сраженный выстрелом в упор. Часовой упал ничком.

Убит или ранен? Не все ли равно.

Скорей сдернуть с плеча ремень автомата, скорей рвануть футляр от противогАЗа, отстегнуть кинжал, отцепить фляжку, обыскать.

Левый карман шинели пуст, а в правом — вот они, сигареты, вот спички. Жаль, что за голенищами притихших, совсем беззвучных сапог нет ни единого магазина, набитого патронами. Ну да ведь не пустой же у часового автомат! А вот и патронташ на поясе. Ура, запасные обоймы! Живем, Михал Михалыч!

Теперь нужно оттащить тело с тротуара во двор, за ворота, чтобы часового не сразу хватились, чтобы было время добраться к себе в подвал.

Надо и каску забрать, она еще теплая внутри. Пестряков напялил каску поверх пилотки. Жаль вот — фляжка неполная. Была бы полная — не булькала. Зато пачка сигарет только начата.

Пестрякову нетерпимо хотелось закурить, тотчас же закурить. Но об этом и думать нечего было под открытым небом.

Он пересек двор, перелез в сад через знакомую дыру в проволочном ограждении, выбрался на противоположную улицу и, прижимаясь к заборам, стенам домов, заторопился подалее от ворот с кирпичными башенками.

Когда в небе разгоралась ракета, он замирал, упершись в стену спиной, локтями, затылком так сильно, словно хотел вжаться в камни. Пустой пистолет Черемных он не стал выбрасывать, а засунул за пазуху — пригодится. Трофейный автомат держал под полой шинели, чтобы не блестел.

При свете зарева он открыл железную коробку противогАЗа,— вот они, бинты, а вот и галеты, целых две пачки.

Ни малейшего страха не испытывал сейчас Пестряков в своей ночной прогулке по городу, и он знал, откуда это хладнокровие — он снова при оружии и в случае чего не продаст свою жизнь и жизнь Черемных за бесценок.

Как хорошо все-таки, что в охоте за оружием он забрел далеко от своего подвала. Когда фашисты хватятся часового, они наверняка устроят облаву. Но не могут же они обыскать весь город!

Лишь бы не сбиться с пути, а то — гибель. Ведь у встречного не



спросишь: «Битте, скажите, господин фашист, как пройти на Церковную улицу, дом двадцать один?» Опять забыл, как эта Церковная по-ихнему называется.

Наши обстреливали окраину городка весьма кстати — улицы совсем пустынные. Время от времени где-то разрывался снаряд, свистели осколки, и Пестряков ложился на мостовую, на тротуар. Уж очень обидно было бы пострадать сейчас! Не ленись прижиматься к земле, когда снаряд на излете, свои осколки не хуже чужих кожу дырявят...

Пестряков шмыгнул в скрипучую калитку, осмотрелся, трижды стукнул прикладом трофейного автомата о ящик, неловко сполз в подвал.

— Живой? — донеслось из темноты.

— Живой покуда, — бодро отозвался Пестряков, изнутри надвигая ящик на лаз. — Я вообще живучий. Моя пуля еще не отлита...

Замерцала площадка в изголовье у Черемных. После долгой темноты фитилек показался ослепительно ярким. Пестряков прикрыл глаза рукой, а Черемных зажмурился.

Долговязая тень Пестрякова металась по стенам, потолку подвала, и тут-то Черемных увидел тени от автомата, висящего за плечом Пестрякова, и от каски. Тень от каски была какая-то по-чужому угловатая.

— С трофеями?

— Подобрал на поле боя.

— Понятно.

— Головной убор получи. — Пестряков достал из-под каски и надел на Черемных свою пилотку.

— Тепло в ней!.. А я уж не надеялся.

— Похоронил меня?

— Сам дожить не надеялся...

Пестряков подобрал в углу подвала трофейный Тимошин парабеллум и набил полную обойму; патроны были цилиндрические, без шейки, и чуть потяжелее наших.

Как у нас одни и те же патроны подходят к «ТТ» и автомату, точно так же немцы могут стрелять своими патронами из автомата «шмайсер», из «вальтера» и парабеллума.

— Получай трофейную пушку! — Пестряков торжественно положил заряженный парабеллум к изголовью Черемных.

Черемных несколько раз засыпал в отсутствие Пестрякова — стыдно признаться — с тайной надеждой не проснуться вовсе. И каждый раз просыпался, чтобы снова ощутить свою незащищенность, страдать от голода, от жажды, от боли и от холода.

Сейчас, когда Пестряков зажег плошку, Черемных впервые увидел морозные облачка его дыхания.

В последние дни холод донимал Черемных больше, чем боль. Он

уже не понимал — то ли притерпелся к боли, то ли боль в самом деле пошла на убыль.

— Мог бы и раньше управиться. Да вот рука подвела, задрожала...— Пестряков ощутил острую потребность во всем признаться сейчас Черемных.— Сроду за мной такого не водилось, а сегодня...

— У меня — ноги. А у тебя — плечо,— не понял Черемных слов признания.— Лежу вот на твоей шее...

— Отставить, Михал Михалыч!

Пестряков торопливо отвинтил крышку от фляги, принялся:

— Вроде оно. Ну-ка!..

— Что там?

— Горючее. Жаль только — не до горлышка.— Пестряков потряс флягой, жидкость в ней забулькала.— Но по нескольку добрых глотков наберется. Пригубь-ка, Михал Михалыч, с лечебной целью...

Черемных взял флягу, облокотился, морщась от боли, и осторожно, боясь пролить каплю, отпил из фляги два глотка. Он старался делать такие глотки, чтобы не показаться жадным.

— Оно? — Пестряков сгорал от нетерпения.

Черемных едва заметно кивнул, но мог бы этого и не делать — воспаленные глаза его засветились горячим блеском, по лицу, заросшему черной щетиной, разлилось блаженство.

Затем пришла очередь пригубить флягу Пестрякову, он тоже сделал два умеренных, осторожных глотка.

— Высшего сорта шнапс! — крикнул Пестряков.— Неразбавленный.

Он плеснул самую толику шнапса на табуретку, поднес плошку — лужица жадно взялась синим пламенем и быстро испарилась.

— Градусов под семьдесят,— определил Пестряков.— Такой шнапс и на перевязку сгодится. Для наружного употребления... Окончилась твоя диета, а точнее сказать — пост... Закусим, что ли, поскольку у нас сегодня банкет!

Пестряков величественно протянул Черемных галеты. Сам он сгрыз одну галету.

Вытащили из пачки по сигарете. И, когда Пестряков подносил плошку, а Черемных прикуривал, у обоих дрожали руки.

Огонек быстро подобрался к коричневым ногтям Пестрякова. Он взялся за окурочек другой рукой и сделал еще одну жадную затяжку, обжигая при этом не только кончики пальцев, но и губы, и лишь после этого выбросил окурочек.

Наверное, сказалось давнишнее недоедание, оба опьянели от шнапса, от сигарет...

Черемных кивнул с молчаливой признательностью. Голова его тонула в уютной пилотке, по всему телу разливалось невыразимое живое тепло.

А главное — он снова чувствовал свои ноги: вот она, правая, а вот левая. После перевязки, которую сделал Пестряков, после того как он промыл раны шнапсом, боль как будто утихла.

Но долго им обоим спать не пришлось. Как подброшенный пружиной, Пестряков вскочил на ноги, схватил автомат и занял позицию у окна. Хотя он и был туговат на ухо, но явственно услышал шаги во дворе. Тут же раздались три условных удара о ящик.

— Тимошка вернулся! — крикнул Пестряков и выдернул подушку из оконного проема.

Показались сапоги с высокими голенищами, грязные полы шинели, прожженной на спине, и Тимоша легко спрыгнул с подоконника.

Он снял каску, пригладил спутанные белесые волосы и, то запинаясь, то затейливо ругаясь, принялся рассказывать, как он проводил лейтенанта через линию фронта к своим. Фрицы, опасаясь нашей разведки, освещают по ночам свой передний край. Помимо ракет, они с этой целью поджигают в фольварках поочередно дом за домом, стог за стогом. Стога они поджигают с верхушки — сено при этом горит неторопливо, света хватает чуть ли не на всю ночь.

Пестряков торопливо дал Тимоше хлебнуть из фляги, угостил галетами, протянул сигарету.

— С трофеями? — повторил Тимоша давешний вопрос Черемных.

— Подобрал на поле боя, — так же уклончиво ответил Пестряков.

Когда Тимоша в первый раз затынулся, пальцы его тоже дрожали. Пестряков только сейчас заметил, что Тимоша вернулся без гранат. Где же они?

— Пришлось обе гранаты израсходовать. И холодное оружие в ход пустить. Патронов чуть осталось...

Тимоша собрался вернуть Пестрякову кинжал и предварительно оттер его полую шинели. Но Пестряков безмолвно показал трофейный кинжал, висящий у него на боку. Тимоша увидел чужую каску, увидел «шмайссер». Ему очень хотелось вызнать все, касающееся трофеев, но придется подождать с расспросами. Пестряков торопился на чердак.

Тимоша подсел к Черемных на кушетку:

— Ну как, механик?

— По совести сказать?

— Как солдат солдату.

— Выздороветь не хватает сил. А умереть не хватает смелости.

— Разговорчики! — прикрикнул Пестряков уже с подоконника. —

Смелость для жизни беречь нужно!

«Тугоухий, а что ему нужно, всегда услышит», — улыбнулся Черемных.

— Открой форточку, Тимоша.

— Опять зубами стучать приметесь, Михал Михалыч. Зябко на дворе. Снегом пахнет.

— Все-таки открой,— попросил Черемных.— Хочу послушать.

— Замерзнете,— предупредил Тимоша и выдернул из проема подушку.

Серый свет просочился в подвал, но его не хватало, чтобы осветить дальний угол и кушетку, на которой лежал Черемных.

— Пулеметы спорят,— прислушался Тимоша.— Наши, слышите?

— Откуда ты, Тимоша, знаешь, чьи это пулеметы?

— Что же, я их по голосам не различаю? Ну как же! Это вот фашист. Басовитый такой. А это наш, голосистый. Он почаще бьет.

— Пестрякова не слышать?

— Наверное, на чердак забрался. И я сейчас подамся туда.

— Ноги прикрой. Что-то они стали холод слышать.

— Ноги мерзнут? Хорошо! — шумно обрадовался Тимоша.— Можно сказать, замечательно!.. Значит, снова жизнь чувствуют.

Тимоша укрыл Черемных, отошел к оконцу, напялил каску, выглянул во двор — пора вылезать. Глядеть можно и в два глаза, а вот прислушиваться их гарнизону лучше бы в четыре уха...

Михал Михалыч, сколько ни вслушивался, не услышал ни шагов Тимоши, ни скрипа калитки...

Сегодня у Черемных впервые затеплилась надежда на счастливый исход — признаков гангрены, которой можно опасаться, не было. И жар как будто спал, и боль унялась. Может, в самом деле помогли перевязки Пестрякова и шнапс, который он потратил на дезинфекцию ран?

И какое все-таки счастье, что боль, неотступная и ненасытная боль, так и не стала последней, что он не утратил способности терпеть. У него теперь достанет сил, чтобы все, все, все перенести, только бы не разминуться с жизнью!

Черемных боялся довериться радостному предчувствию, но, чем отчетливее восстанавливалось ощущение бытия, его принадлежность к жизни, которая вновь обретала будущее, тем он все больше стыдился своего давешнего поведения.

«Не доживу! Не дотяну! Не увижу!...» — передразнивал себя Черемных с удовольствием, стыдясь своего поведения и бесконечно счастливый тем, что ему приходится стесняться былого малодушия, что у него появились для этого основания.

Грохот ящика, отодвинутого от оконца, прервал полузабытье, в котором находился Черемных.

Он схватился за парабеллум, но тут же увидел хорошо знакомые, со сбитыми набойками и прохудившимися подметками сапоги Пестрякова. С подоконника свесились короткие голенища сапог, а вслед за ними по-

казалась перекошенная спина их долговязого владельца, в шинели с задранными полами.

Что-то случилось, если Пестряков забыл об установленном им же самим сигнале — три удара прикладом о ящик.

Вслед за Пестряковым в подвал со всегдашней ловкостью, но на этот раз очень шумно, прыгнул Тимоша. И оба на сей раз не осторожились, никто не торопился закрыть оконце.

— Михал Михалыч, наши! — сообщил Пестряков радостно. — Танки за мостом гуляют!

Он разучился за эти дни громко разговаривать, а сейчас наслаждался вновь обретенной возможностью говорить не таясь. Ах, друзья-товарищи и не подозревают, наверное, как трудно было все время умерять свой голос человеку, который сам плохо слышит; ведь недаром глухие — первые крикуны...

Ну, а Тимоша? Он кружился по подвалу, топоча сапогами, пританцовывал, орал что-то несусветное и восторженно ругался. Тимоша уже совсем иначе, чем прежде, осматривался в подвале, он мысленно прощался с ним навсегда.

— Не ошибаешься, Пестряков? — Черемных боялся доверить столь счастливой новости; он тоже отказался от шепота.

— Что же, я свои танки не признал?! — громогласно обиделся Пестряков.

Черемных порывисто приподнялся на локтях. В эту минуту он совсем не чувствовал боли.

— От нас тоже зависит. — Пестряков озабоченно потеревил ус. — Сидеть сложа руки?! Этого Гитлер — чума его возьми! — от меня не дождется!.. Ну-ка, Тимошка, айда на энпэ!

И Пестряков первым, как всегда неуклюже, вылез из подвала. Тимоша расторопно последовал за ним.

Оба прошмыгнули мимо сарая, пробрались во двор соседнего, углового дома. Тимоша постоял, принявшись к ветру: дует в сторону перекрестка. Он поджег поленицу дров; благо сухие щепки в этом дворе лежали под навесом в изобилии, сосед-домовладелец тоже припас топливо на всю зиму. Тимоша набросал на поленицу какое-то тряпье, конскую сбрую, густо смазанную салом, дегтем. Пусть дымит как умеет!

Тимоша убедился, что дым сносит ветром на угловой дом, и сказал, отступая от костра, уже набравшего жаркую силу:

— Дыму не оберешься! Теперь воевать сподручнее.

Они заняли в угловом доме удобную позицию. Оба стали на колени у соседних окон. Стекла уцелели, и выбивать их, маскировки ради, прежде времени не стали. Автоматы положили на подоконники не дисками, а кожухами — тоже для незаметности.

Тимоша сладко зевнул и, судя по всему, не прочь был соснуть тут же на полу под окном, но Пестряков его растормошил. Нужно вести наблюдение на два фронта — из окон, глядящих на восток и на юг.

Тимоша взглянул в окно и принялся ругать хозяйку дома за то, что она поленилась напоследок вымыть и протереть окна. А сейчас вот по ее вине Тимоше приходится до боли в глазах вглядываться в запыленное стекло. И ведь не протрешь его, это проклятое стекло! Пыль-то, грязь и копоть с улицы пристали.

Тимоша горячо заговорил о чем-то, но Пестряков его не расслышал.

— Со мной тихо говорить — все равно что глухому звонить,— напомнил Пестряков.

Тимоша застеснялся своей забывчивости и проворно сменил позицию у окна. Теперь он расположился, как бывало в разведке, слева от Пестрякова. Тот слегка сдвинул набекрень каску. Он полагал, что у Тимоши есть к нему важный разговор.

— Я вот интересуюсь,— Тимоша озабоченно морщил безбровый лоб,— кто на этой войне сделает самый последний выстрел?

— Ну и пустельга! А я-то ухо наострил. Вечно ты, Тимошка, от нечего болтать небылицы сочиняешь... Последний выстрел? Кто его знает! Может, даже мне окажется напоследок по Гитлеру пальнуть.

— Возьми такой эпизод. Пушку зарядили. Снаряд уже дослали. А тут замирение подоспело. И команда: «Прекратить огонь!» Как быть?

— Согласно наставлению, оружие следует разрядить выстрелом. Ствол опустить. Открыть затвор и смыть нагар мыльным раствором.

— Нормально. Но вот как разрядить пушку? Стрелять-то уже некуда будет!— Тимоша весело ругнулся и заерзал, сидя на полу; каской он едва доставал до подоконника.— По своей территории нельзя. По Германии тоже нельзя — фриц уже руки поднял. Гитлеру капут. Хорошо, если та батарея рядом с морем окажется! Довернут тогда пушку и вежливо выстрелят в море. А на сухопутье? Хлопот не оберешься.

«Вот ведь, ветрогон, о чем заботится! Словно уже победу празднует!» — подумал Пестряков.

Ему и самому бесконечно приятно было думать сейчас о последнем выстреле, о победе, о будущей жизни.

Но для порядка Пестряков напомнил, что надзирать за Гитлером полагается втихомолку:

— Глаза и уши — не вся разведка. Еще — рот на замке.

Говорил Пестряков строго, а слушал разглагольствования Тимоши без всякого раздражения, с доброй снисходительностью. «Вот ведь все-таки удивительный парень! Пустомеля — да деловой, хвастун — да бесстрашный, трепач — да надежный в деле!»

Тимоша виновато потер глаза грязным кулаком и снова откинул на затылок каску, чтобы она, такая-сякая, не налезала на уши...

Тимоша первый услышал тяжелую поступь нашего танка. Пестряков как ни напрягал слух, так и не мог ничего услышать, пока танк не подошел ближе.

Танк постоял перед мостом, затем развернулся и ушел искать брод через канал — опасался мин. Еще несколько наших танков обтекали окраину городка с юга.

На аллее, ведущей к мосту, появилась группа немецких солдат. Они пятались, оттаскивая свой тонконогий пулемет.

— И русский говорит «гут», когда немцы бегут, — подал голос Тимоша, изнуренный долгим молчанием.

Один из солдат, дюжий детина в очках и почему-то не в каске, а в пилотке, держал под мышкой нечто похожее на самоварную трубу, но только диаметром покрупнее, а длиной побольше метра.

«Опасная придумка этот фауст-патрон».

Фаустник повернулся в профиль, затем снова попятился и посмотрел назад. Видимо, он намеревался спрятаться за углом дома.

Пестряков, потрясенный встречей, забыл о всякой осторожности. Уже не только немецкая каска его и немецкий автомат торчали над подоконником. Пестряков по грудь высунулся в своей шинели с непомерно широким, измятым воротником.

Да ведь этот самый фаустник поджег танк Михал Михалыча! Так вот где мы с тобой снова встретились, очкастая сосиска! Ну конечно же, это он: угловатые плечи, сутулится, роговые очки и пилотка. Чумовой, однако, длинноногий черт!

Руки Пестрякова задрожали от жажды нетерпеливой и лютой мести. Вот уж ни к чему эта дрожь!

— Сейчас расквитаясь. С тем рыжим жердеем... А ты бери на себя пулемет, Тимофей!

Пестряков взглянул искоса — Тимоша положил свой автомат на подоконник кожухом, придерживая приклад снизу левой рукой, плотно прижимая его к плечу, и дал короткую очередь. Пули со звоном прошли оконное стекло.

Хорошо бы и ему, Пестрякову, для большей меткости подложить ладонь под рожок трофейного автомата. Но левая рука побаливала, и дрожь от нее передавалась всему телу. Он никак не мог унять дрожь в руке и сдерживать дыхание, перед тем как нажать на спусковой крючок.

Долговязый фаустник хотел спрятаться за углом дома. Пятась назад по тротуару, он прокричал своим товарищам, оставшим от него, что-то гортанное и злое, чего Пестряков не понял, затем помахал кому-то длинной ручищей. Но это было последнее, что немец успел сделать.

Фаустник выронил свою трубу. Тимоша услышал, как она, дребезжа, покатилась по тротуару, шмякнулась о тот самый угол дома, за которым фаустник пытался спрятаться от пуль.

«Один мулек от фрица остался,—отметил про себя Тимоша.— Да еще очки на носу застряли».

Тимоша бил по пулеметному расчету. Пестряков увидел, как он авторитетно управился с тремя фашистами.

«Что-то Тимошка патронов не экономит,—забеспокоился Пестряков.— Во-он какую очередь сочинил! Пока свои не подоспеют, ему диету соблюдать нужно. Иначе боевого питания никак не хватит...»

Между тем Тимоша громыхнул прикладом по раме, со звоном посыпались стекла, проклеенные крест-накрест бумажными полосками. Настежь распахнулось окно, но не свежим воздухом, а дымом понесло с улицы.

— Прикрой меня, дядя Петро!—прокричал Тимоша, да так громко, что туговатый на ухо Пестряков встрепенулся.

Тимоша прокричал «дядя Петро», уже перепрыгивая через подоконник, подобрал полы длинной, не по росту, шинели, с подпалинами и прорехой на спине.

Он стремглав бросился к беспризорному немецкому пулемету. Тот остался стоять на своих тонких ногах среди трех бездыханных тел в серо-зеленых шинелях. Тимоша схватил пулемет, ящик с лентами и так же опрометью, пригнувшись, понесся обратно к дому. Каска сползала ему на глаза, он путался в полах шинели.

Скоро худощавое тело пулемета уже хищно подрагивало, вбирая в себя ленту, а за пулеметом, глядящим из окна дома, лежал Тимоша.

Он взял на прицел мост, круто выгнувший каменную спину в конце аллеи, мост, по которому пятились немцы. Пулемет за спиной вызвал замешательство: русские обошли с тыла, окружили?!

Пестряков в полной мере оценил тактический маневр Тимоши. Конечно, рискованно было расстрелять весь диск автомата в надежде на трофейный пулемет, но риск был умный.

Поджог во дворе Тимоша совершил как нельзя более кстати. На дом, в котором засели Пестряков с Тимошей, сносило густой дым; немцам за дымом не видны были вспышки выстрелов, а отступающие обходили горящий дом стороной.

Танк наш медленно приближался.

«По чужим следам идет. Осторожничают,—отметил Пестряков, очень довольный неизвестным ему танковым экипажем.— На песке все написано».

И в самом деле, впечатлительный гравий хранил следы немецких танков и цуг-машин, прошедших здесь, по-видимому, ночью.

И тут Пестряков подумал вдруг, что очкастый фаустник предусмотрительно выбрал место для засады. Неужели тот рыжий черт догадался,



что наши танки, опасаясь мин, пойдут для безопасности по следам немецких? Какой же он в таком случае был дошлый и опасный вояка, этот жердьяй!

Пестряков снова почувствовал себя в ту минуту не просто пехотинцем, а десантником, словно он лишь недавно спрыгнул с брони танка, чтобы воевать в непосредственной близости от него, охранять свою машину.

Ему хотелось думать, что стрелком-радистом в танке хлопочет молоденький лейтенант, что это он спешит к ним на выручку.

Для старшего возраста

*Воробьев Евгений Захарович*

## ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН

*Маленькая повесть*

Ответственный редактор З. С. Карманова.  
Художественный редактор Е. М. Гуркова.  
Технический редактор Е. М. Захарова.

Корректоры

Л. М. Агафонова и Л. М. Короткина.  
Сдано в набор 29/1 1969 г. Подписано к печати  
1/VII 1969 г. Формат 70 X 92<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 4.  
Усл. печ. л. 4,68. (Уч.-изд. л. 4,24). Тираж  
300 000 экз. ТП 1969 № 289. А09004. Цена 15 коп.  
на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство  
«Детская литература» Комитета по печати при  
Совете Министров РСФСР. Москва, Центр,  
М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красно-  
го Знамени фабрика «Детская книга» № 1. Рос-  
главополиграфпрома Комитета по печати при  
Совете Министров РСФСР. Москва, Суэцкий  
вал, 49. Зак. 3736.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**В серии «Слава солдатская» вышли и выходят книги:**

**Березко Г.—КРАСНАЯ РАКЕТА.**

**Кожевников В.—МАРТ-АПРЕЛЬ.**

**Полевой Б.—ЗНАМЯ ПОЛКА.**

**Родимцев А.—МАШЕНЬКА ИЗ МЫШЕЛОВКИ.**

**Симонов К.—ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ.**

**Тихонов Н.—СИБИРЯК НА НЕВЕ.**

**Георгиевская С.—МАТРОС КАПИТОЛИНА.**

**Иванов В. и Флигельман С.—ЯРЧЕ ЛЕГЕНДЫ.**

Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

Книги высылаются по почте наложенным платежом отделом «Книга — почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.

